

Crème de la Crème



Катрин Колом

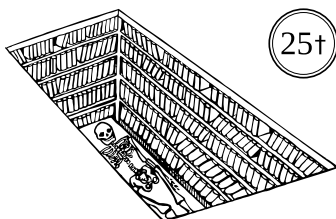
ДУХИ ЗЕМЛИ

*Перевод
Ирины Мельниковой*



Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Швейцария



Catherine Colomb
Les Esprits de la terre

*Перевод осуществлен при финансовой
поддержке культурного фонда Pro Helvetia
(Швейцария)*

fondation suisse pour la culture

prohelvetia

*В оформлении обложки использована картина
Джеймса Энсора «Интрига» (1890)*

Редактор: Александр Маркин
Обложка и верстка: Ольга Сазонова
Руководство изданием: Дмитрий Боченков
Корректоры: Дмитрий Волчек
и Кирилл Путресцинов

*Благодарим Марион Граф и Дорис Жакюбек
за помощь в подготовке этой книги*

ISBN 978-5-98144-197-4

© Catherine Colomb, 1953

© Kolonna Publications, 2014

© Ирина Мельникова, перевод, 2014

- Авраам упал!
- С башни?
- Да не с башни, с карниза!
- О, господи, что он забыл на карнизе?
- Это Цезарь его толкнул, не иначе!
- Цезарь! Цезарь!

«Надо же, – подумала посыльная, услышав крики, – надо же, мне всегда казалось, что если бы мсье Цезарь и собрался бы кого-нибудь убить, то в первую очередь убил бы Мадам».

Авраам не покинул Фредега после смерти, каждый день он появлялся в замке, летел по коридорам по своим прозрачным делам мимо матери, на голове которой возвышалась снежная крепость, мимо сестры Изабель и ее женихов, мимо младшего брата Улисса, горбуна, прижимавшего скрюченной рукой к груди чернильницу из черного мрамора. А дядя Цезарь? Где же дядя Цезарь? Любимый племянник упал с карниза, а Цезаря и след простыл? Так ведь сейчас осень, и он, наверное, как обычно, ушел в Дом Наверху; он идет вдоль стены Фредега, отворачивается, чтобы не видеть папоротника, мальчик-слуга в Доме Наверху уже заслоняется рукой, готовясь к новым побоям, а слуга из Фредега, опершись о дверной косяк, вдыхает, наконец, чистый воздух первого вечера долгожданной свободы. Служанки подметают комнату, где Цезарь

живет по полгода, вместо двух репсовых зеленых штор на окне теперь висит одна, вторую украла посыльная в ту самую ночь, когда Арманд крушил башню, с которой, потянувшись за папоротником, упала голубка-горлица, он видел проворную посыльную, увозившую в тележке из ивняка длинные с вышивкой платица умершего младенца. Цезарь с братьями сидели в кроватках и слушали, как камни с глухим грохотом сыпались на белые розы, трепетавшие накануне по краям гроба молодой покойницы. «Что там за шум? Это волны? Скажи, Цезарь». Цезарь, густая рыжая шевелюра и веснушки, тряхнул головой. Теперь его морковные волосы аккуратно подстрижены кружком, и каждую осень он незаметно, никого не предупредив, уходит в Дом Наверху. Рим, обнищавший кузен – Мадам великодушно позволила ему с женой поселиться в старом свинарнике («Там очень комфортно, и вы, кстати, будете чувствовать себя более непринужденно, чем в замке, – уверяла она. – И в гостиной не нужно торчать, когда у меня визиты, правда?! Отдыхайте себе спокойно в вашем прелестном домике. Я бы сама с удовольствием жила тут, а не в этом огромном Фредеге...») – кузен Рим перешагнул болотце, разлившееся у порога, и, сияя от счастья, поддерживал под спину раненого Авраама, когда того несли по лестнице; кровь капала на старые ступени, по которым так приятно ступать покойницам, спускающимся в первую ночь за стаканом воды. Авраам упал на узкую полоску песка, дядя Цезарь скрылся. Мадам вынесла вердикт: «Это Цезарь!»

– Но, милая, – робко возразил Эжен, – он же...

– И где сейчас твой братец, ты знаешь? Чем он занимается в конюшне? Выходит оттуда, шатаясь. Пьет, говорю тебе. Ну, давай, сходи туда! Найди его, побеседуй, это же не мое дело, я же

в вашей семье чужая... О! если бы я могла себе представить тогда!

Когда фиакр сквозь туман вез ее на бал, и старик шагал рядом по заметенному снегом тротуару и держал ее за руку.

– О! Цезарь – мой крест, мой...

– Но, милая, а вдруг он потребует свою долю?

– Его доля! Да он давно уже ее проел, двадцать пять лет ест за моим столом и спит на моих простынях. Как, ответь мне, пожалуйста, имея такого родственничка, выдать замуж Изабель? Вспомни французского офицера; она уже поверила... Вышивала по канве с утра до вечера, потому что он сказал: «О! мадмуазель Изабель, вам не знакомо филейное вязание? У нас все девушки...» Почему он, офицер, уехал тайком? А Бенжамен? Она перечитала все книжки о базельской миссии. А Жюльен? О! о! нет, Цезарь – мой крест!

7

И она принялась вздыхать так громко, что деревенские жители в ужасе высунулись из окон: «Опять баронесса. Что с ней стряслось? Хоть бы у нас стекла не лопнули, как в прошлый раз». Иностранец, потягивавший молодое вино на террасе постоянного двора, удивлялся, что никто, кроме него, похоже, не слышал глухих ударов волн, обрушивавшихся на скалы и разбивавшихся миллионами брызг о стены Фредега; в тот вечер из карниза под окнами второго этажа выпал один камень.

– Терпение, милая, – уговаривал славный, добрый Эжен, – терпение, работы на винограднике завершены, он скоро уйдет.

– Цезарь – мой крест. Дамоклов меч. Ах! Ах! В конце концов, мне все равно. Пусть требует долю, пусть снова женится, хоть бы и на бабенке из тира, или на племяннице музейного смотрителя, или на дочке инженера, или на служанке из таверны,

или на той, с которой шашни крутит все лето... Каждый вечер уезжает на велосипеде и возвращается с рассветом. От кого? Ты знаешь? Ну, нет, мсье не до брата, мсье нежится на песчаном берегу, помогает рыбакам тянуть сети, виноградари курят мсье фимиам, потому что он им с урожая отливает по два литра вместо одного, а Цезарь тем временем... И ведь как сыр в масле! Полгода здесь, полгода там, у Адольфа и Мелани. И жилье, и свет, и накормлен, и обстиран. Его доля? Пусть только попробует заикнуться о своей доле!

Она принялась энергично чистить ногти безымянным пальцем правой руки.

– Ох! Боже мой! – воскликнула она вдруг – посылная и Жибод чуть не выпали из окон. – А если он все-таки потребует свою долю? Брать ипотеку, закладывать замок? А если наступят черные дни, чем тогда платить проценты? Нет, – быстро добавила она, понизив голос, – я знаю, он поселится здесь с какой-нибудь девицей, а мы отправимся на место Римов в свинарник. (Мерзавец, эгоист, подумал бы о бедных Риммах!) Нет, мы будем скитаться по дорогам с незамужней Изабель и Улиссом, несчастным Улиссом! И Авраамом с его вечной флейтой.

– Ну, дорогая, так далеко еще не зашло...

– А как далеко зашло, позволь поинтересоваться?

Она грузно поднялась с кресла, безвольно свесились по бокам сильные белые руки замурованной пленницы.

– Не изводи себя понапрасну, милая, виноград собрали, Цезарь скоро уйдет.

Цезарь, действительно, быстро шагал прочь от озера, окутанного дымкой, из-за высокого мыса показался рыбак и одним мощным взмахом весел вывел лодку в открытые воды. На повороте, за которым уже не видно свинцового озера, Цезарь,

бродяга, бездомный, присел на маленький, как у прислуги, чемоданчик, обхваченный бечевкой. Голубые, розовые, зеленые камни, те, что перекатываясь в волнах, постепенно теряли вес и превращались в водяные цветы, с наступлением осени поблекли. «Где мои прежние братья и сестра? Где дети? Я вижу их только во сне, они стоят на песчаном берегу, я разговариваю с ними, глажу пухлые ручки. Между детьми и нами теперешними, Зое, прикинувшейся сумасшедшей, чтобы избежать жалости, Адольфом, сощуренные глазки за стеклами лорнета, Эженом, широкое розовое лицо, перечеркнутое черными с проседью усами, и мной... Цезарем... нет ни малейшего сходства, ничего общего. Но ведь они не умерли, об этом уже было бы известно, плохие новости не задерживаются. Значит, они живут где-то и ждут меня. Точно не в Доме Наверху, не на земле, заповоленной травами, деревьями, рожью, картофелем, скорее здесь, на песчаном берегу или на голой земле виноградников. Вот бы ускользнуть однажды от пристального взгляда Мадам, найти детей и поплыть с ними в тишине земных недр, встречая по пути желтые фиалки и корни виноградных лоз, крепкие, как железо!» Цезарь встал, озеро на полгода спряталось от него за холмом. Мелани, караулившая Цезаря на кленовой аллее, прижала руку к колышущейся груди.

– О! Цезарь, что случилось? Это же не вы, верно, не вы столкнули Авраама? Я сказала по телефону, что это неправда, что вчера вечером вы были здесь у нас. Они ничего не узнают. Если, конечно, кто-то внизу вообще станет вами интересоваться...

Он молча прошел мимо. Его сестра Зое ела, еду ей приносили в сад и ставили на газету; Зое ненавидела цифру 3 и частицу *si*. На пороге появился Адольф, протер лорнет уголком жилета.

– Как, Цезарь, ты тут?

– Со вчерашнего вечера, – без запинки ответила Мелани, – он сегодня рано утром ходил в лес, поэтому ты его не видел.

Совершенно ненужная ложь, бедняжка Мелани, умереть готова за Цезаря. Авраам был таким легким, что, сорвавшись с карниза, только поцарапался, и, кстати, Цезарь сразу пожалел о содеянном: зря он вытащил камень. «Вернись, вернись, Авраам!» – крикнул он племяннику из окна башни. 10 Есть еще одно обстоятельство, извиняющее Цезаря: тем вечером Мадам блистала в роли Горгоны, она неотступно следила за каждым его движением, такой же пристальный взгляд устремляют на людей летними ночами звезды, и деревенские жители в страхе тянут к небу молитвенно сложенные руки. Потом, глядя на Цезаря в упор, она намекнула, что мулы не могут иметь детей. По отдельным признакам стало ясно, что Мадам готовилась рассмеяться и показать свои желтые зубы водолаза в скафандре. Мул, представляете! Вот почему Цезарь, бродяга, бездомный, пытался убить Авраама, родного племянника. В предрассветных сумерках Цезарь ступил на карниз, дорогу из камня, границу, отделявшую мир детей, на которую прежде опиралось небо. Осторожно по стеночке прокрался мимо пятнадцати окон. Если бы Мадам проснулась в тот момент! Но нет, из спальни доносился храп. Эх, держи мы с Эженом ухо востро, точно услышали бы, как она храпела в фиакре, тогда давным-давно, а старику места рядом с ней не хватило, и он в тумане шел пешком по тротуару... Если бы она проснулась и распахнула ставни, Цезарь полетел бы в бездну. И пропал бы с концами пастух, бродяга, чужак, лис без логова, морковно-рыжие волосы аккуратно подрублены кружком, под котелок! Кара небесная –

эти его возвращения во Фредег в середине марта, когда у сточных канав краснеют ивы и голая земля виноградников окрашивается в цвет утренней зари! Одно движение, и он лежал бы на скалах в шести метрах под окнами. Но Мадам спала, и Цезарю удалось пройти незамеченным по узкому карнизу; стена кренилась назад под ударами древних волн, и только богу известно, какие раковины хранились в комнате за окном с крашеными стеклами. Рыбацкие лодки, едва показавшись из-за высокого мыса, отплыли далеко на середину озера навстречу тихим бризам и мощным ветрам. У Фредега осталась только одна башня, но стоны другой, разрушенной, слышатся и по сей день, если дует водер, и рыбаки по-прежнему приносят в замок римские вазы, выловленные в озере. На карнизе прямо на стыке стен расшатался камень, Цезар вынул его и швырнул в воду. «Иди-ка сюда, Авраам. Знаешь, в детстве мы ходили по карнизу до покрашенного окна», – несколькими часами позже рассказывал Цезарь.

Которое стекольщик, вися между небом и водой, замазал с особой тщательностью. Ах! Если бы оконные стекла остались прозрачными, дети заглянули бы в комнату и увидели комод красного дерева и корзинку для рукоделия на круглом столике!

– Ну, Авраам, ты пойдешь впереди, перелезай через подоконник.

Авраам пошел по каменной дорожке, прижимая к уху озерную раковину, серую в легкомысленную коричневую полоску, перламутровую внутри.

– Вернись, назад, Авраам, – вдруг закричал Цезарь.

Если бы не раковина, возможно, Авраам и сохранил бы равновесие на углу башни, где в ту среду вечером вместо камня под ногой неожиданно оказалась выбоина.

– Авраам упал!

– С башни?

– Да не с башни, с карниза. Это Цезарь...

12

Улисс решил, что теперь комната умершего брата в его распоряжении, и перетащил туда чернильницу черного мрамора. Когда воскресший Авраам прозрачной рукой смел на пол чернильницу Улисса, и несчастный калека, расстроившись, ретировался в свою спальню, наполненную зеленым сумраком, где жил, как скрюченное деревцо, на дорожке Фредега появился житель кантона Ури, последний из тех, кто мог бы претендовать на Изабель. На лбу у него торчала шишка, такие иногда вырастают у мужчин между пятьюдесятью-шестьюдесятью годами. Одиннадцать братьев и сестер! На ногах с четырех утра – пора косить, до школы надо успеть подоить пять коров; по воскресеньям братья в черных шерстяных костюмах и накрахмаленных рубашках сопровождали на прогулке старого отца, золотое кольцо в ухе, выправка, как у щелкунчика, синий парусиновый зонтик и шпага под мышкой. Благо-вест лился над старой долиной, над гранитными склонами, лестницами для великанов, по ступеням которых скачками спускалась Рёйс. Мать громко молилась на кухне в тот же час, что и слуга в конюшне, и пахари в поле. Мизинцем – руки мокрые – она гоняла туда-сюда по грубому деревянному столу с глубокими выщерблинами, куда наливают суп, письмо от дочери, вышедшей замуж в Нью-Йорке и передвигающейся теперь исключительно на машине в шикарном боа из серых перьев. Вот и отец вернулся, под сто лет ему уже. Приказал слуге распрячь четверку лошадей. Тяжелый это труд, ох, тяжелый! Из одиннадцати детей только Анна, огромная, ростом с дверной проем, осталась в деревне; других отец по очереди приводил на границу

своих полей и, схватив за плечи, выталкивал вон. «Я устал». Он позвал Анну, попросил стакан кирша: «Анна, время пришло, я умираю». Она, утирая передником слезы, побежала за священником. Через полчаса отец умер. Регула приехала из Варшавы, сын спешно сел на пароход в Англии; он, сиреневые подтяжки с рисунком, помогал гроб нести. А рядом маячил юный мертвец, тринадцатилетний мальчик, которого давным-давно на холме затоптали лошади, спину держал прямо, грудь в земле, на пухлых руках цыпки от первых морозов. Так вот, уроженец Ури в шляпе с траурной ленточкой, заложив большой палец за пройму жилета, явился в замок, чтобы договориться о продаже вина. Лицо у него было широкое, гораздо шире, чем ему казалось. «Я на трамвайной остановке в Цюрихе, ага?» Каждую свою фразу он метил этим «ага?», словно все у него вызывало сомнение, и то, что он едет к дантисту, и то, что у него есть сестра Нафтали. И то, что он стоит на остановке, что отец умер, что вторая сестра, пропахшая камфарой и перцем, возвращается обратно в Варшаву в plombированном вагоне, в котором перевозили евреев, ага? Он уступил место даме в коричневом костюме и с фиолетовой продуктовой сеткой. Шел дождь, асфальт снова стал черным, как земные внутренности (земля! земля!), трамвай, скользивший по мокрым рельсам, резко подбросило на повороте, я упал, ага? и сломал два ребра. Дама испустила крик, пахнуло пряной гвоздикой. «Пожалуйста, – поспешно пригласил доктор. Поводил перископом вправо, влево, навел на несчастье человеческое. – Вы сможете носить бандаж?» Конечно, и так все утро проторчал в клинике. Правда, в каучуковом панцире не уснешь, но лежать десять дней в кровати?! До того ли ему сейчас, когда идет война и единственный способ

заработать – это купить и втридорога перепродать вино с приозерных виноградников на дальней границе, в Аппенцелле? Итальянский граф в свое время тоже мучился бессонницей в спальне Фредега. На глаза граф никому не показывался; еду ему оставляли на пороге, прислушивались, в комнате тихо, потом дверь чуть приоткрывалась, в щель просовывалась рука и забирала хлеб и молоко. Он не спал, смотрел на кипы бумаг, громоздившиеся вдоль стен, иногда рассеянно ворошил их нефритовой тростью с золотым набалдашником в виде головы дракона, потом подходил к окну, отодвигал тяжелую венецианскую штору, которую раньше поддерживали гипсовые ангелы (теперь ее прихватили гвоздиками для обивки мебели и английскими булавками); графу мерещилось, будто на противоположном берегу озера с гор, пытаясь нащупать в рассветном сумраке несуществующие перила развалившейся лестницы, спускаются его преследователи и направляются к замку, стоя в лодках, украшенных савойским крестом. Время от времени он с надеждой читал на обрывке газеты, в которую было завернуто мясо, что один из всемогущих главарей, игравших с людьми, как еще недавно с ними играли боги, феи и грозные иезуиты, разбивавшие лагерь вдоль границ, умирал от рака горла в покоях своего замка, построенного на заоблачной высоте. И вот однажды до деревни, действительно, добрались два близнеца, оперлись о стену в тени платанов и глаз не сводили с графских окон. Разве что иногда пройдутся по улицам с накренившимися под ударами древних волн домами, потом, молча, вернуться, прислонятся спинами к стене и опять смотрят. Граф сидел за столом, до того неподвижно, что осмелевшие воробьи гнездились в складках его широкого белого жиле-

та и клевали крошки с тарелки, и боялся встать с кресла: «Как убедить близнецов, что человек в соломенном канотье и с густыми рыжими бакенбардами, обрамлявшими лицо, прославившийся в Европе своим легендарным путешествием по Лазурному берегу в повозке с осликом, всего-навсего его слуга?» Граф нацепил шляпу на метлу и поднял ее в воздух. В то же мгновение пуля, продырявив тулью, вонзилась в портрет графини Клотильды. Изабель, к счастью, этот портрет так никогда и не увидела и продолжала свято верить, что граф ее любил, из-за нее прятался на втором этаже замка-отеля, с утра до ночи просиживая в кресле-качалке красного бархата, унаследованном от короля Неаполя. Близнецы караулили графа три дня, гора окурков росла у стены с папоротником, той самой стены, мимо которой Цезарь спокойно пройти не мог и всегда отворачивался. В конце концов, граф открыл дверь, больше напоминавшую ворота феодального замка, спустился во двор и сдался. Мадам, изучавшая небо на башне, краем глаза видела молча удалявшуюся троицу. Мадам выслеживала птицу, иногда прилетавшую с горных вершин, птица минуту парила над озером и потом долго кружила над Фредегом: «Животные меня очень любят», – шептала Мадам. Изабель, маячившая у окна спальни, с мечтательной улыбкой провожала взглядом графа в соломенной шляпе. «Я ему нравлюсь, он точно хотел на мне жениться». Спальню графа занял уроженец Ури, мучившийся бессонницей из-за проклятого бандажа. Разве можно лежать десять дней в клинике, скажите на милость, в горячую пору сбора винограда?

«Отец и в девяносто с лишним лет пахал!» Уроженец Ури достал перочинный ножик и принялся чистить ногти. Его сестра, огромная, ростом

с дверной проем – отец довел ее до межи, но в последний момент удержал за плечи – мерила палубу шагами, накрывая корабль к воде, отныне лошади, повозки, тачки, двенадцать кофейных ложечек позолоченного серебра принадлежали ей. Изабель слушала рассказы уроженца Ури и наугад тыкала тупой иголкой в канву для вышивания. «О! вы не учились филейному вязанию, мадмуазель Изабель», – однажды, не скрывая удивления, спросил интернированный французский офицер с черными усиками и родинкой на левой щеке. Из-под фалд коротковатого синего мундира торчала симпатичная попка-орешек. «Все девушки во Франции... Моя мать...» Поэтому-то уроженец Ури, оказавшись в замке, был вынужден отодвигать широкой ладонью вышивки, развешенные на окнах, дверях и вокруг ламп, чтобы пробраться к Изабель. Мадам пересекла гостиную и безмолвно вышла на балкон; на фоне волн ее силуэт медленно плыл вправо, потом влево, пока земля поворачивалась на восток. От черной бархатной пелерины Мадам веяло холодом; она подняла круглое лицо к небу, где разливался обманчивый свет равноденствия, Авраам высунулся из башни, кособокий Улисс бродил по коридорам, прижимая к груди бедной недоразвитой рукой чернильницу из черного мрамора. Наконец, Мадам обернулась, и уроженец Ури, несмотря на все свое мужество, дрогнул. Даже пошевелиться больно, ага? А в больнице останешься, так пропустишь продажи вина, ага? Виноградарь неуклюже танцевал на утрамбованной земле, две георгины красовались на черной кожаной фуражке, а уроженец Ури, сторговавшись о цене вина, спешил покинуть замок. Оглянулся в воротах, Изабель махнула ему на прощанье рукой и вернулась в гостиную, бормоча: «Он-то, конечно, хотел

на мне жениться, да вот я не захотела. Мужчина просто так не станет говорить: «У нас дома изразцовая печь, ага? о! очень уютно!» Сразу понятно, что он собрался жениться».

«Когда-то, – объясняла Мадам следующему жениху, Бенжамену – впервые Бенжамен появился во Фредеге еще будучи учеником миссионера, под мышкой – книга об обращении в веру африканцев, которую он настоятельно рекомендовал приобрести для чтения долгими зимними вечерами – когда-то мы давали детские балы с венецианскими фонариками в честь Изабель, Авраама и Улисса. Бедный Улисс!» Бенжамен со страхом и восхищением смотрел на Мадам, сияющую от счастья при воспоминании о фонариках и до поры, до времени прятавшую свои королевские глаза за лорнетом на роскошной муаровой ленте. Бенжамен, дальний родственник, кузен, седьмая вода на киселе, был настолько тщедушный и маленький, что под ним не согнулась веточка, выросшая путем скрещивания в тот момент, когда над толстыми существами, сидящими на соседних ветвях безлистного генеалогического древа, запели, распахнув ужасные квадратные рты, утренние звезды. Отец Бенжамена, прокурор – всю жизнь жена страдальчески поджимала кукольные губки, когда он брился в кухне – ссужал деньги под высокий процент. Бенжамен нашел на свалке возле сада старые кастрюли и сделал из них тамтамы. «Миссионер? Да я тебя наследства лишу!» – орал побагровевший прокурор и стучал кулаком по столу. Бенжамен, ученик миссионера, подкармливал пташек небесных, но потом, проголодавшись, отнимал у них крошки, высокая черепичная крыша напротив его окна загораживала солнце, огонь плясал по коньку кровли полчаса в день, огромная девственница тянула к Бенжамену

руки, похожие на печные трубы. Бенжамен поплыл в Африку, Элиза, миссионерка, согнувшись пополам, ходила взад-вперед по палубе, метя доски подолом черной юбки. Они приплыли к Мешасебе, где единственной одеждой негритянкам служили набедренные повязки из страусовых перьев, где спины неизвестных животных бороздили грязную воду гигантских озер. Через пару лет Бенжамен вернулся в Европу и навестил обитателей Фредега, под мышкой – книга об обращении в веру африканцев, которую он настоятельно рекомендовал приобрести для чтения долгими зимними вечерами.

– Если вы меня приглашаете, – попытался пошутить он, но Мадам не смеялась и смотрела на него в упор, – если вы и вправду хотите, я могу ненадолго задержаться во Фредеге... ну, то есть, здесь в деревне. О! у меня в Африке дел непочатый край... Я сейчас еду от невестки, жены моего брата-банкира. Как она воспитывает детей!

Он содрогнулся, вспомнив кресла в стиле Людовика XIII, под которыми дети прятались от кнута матери. Увы! Бенжамен очень скоро понял, что от Харибды попал к Сцилле. Вечером во Фредеге после дневных трудов Мадам по обыкновению усаживалась на красное бархатное канапе и заводила беседу, не отнимая от глаз лорнета на муаровой ленте, лежавшей поперек тяжелой груди, потом, воткнув спицу в снежную крепость, возведенную на голове, опускала лорнет, протирала стекла и обводила присутствующих королевским взглядом, выбирая себе жертву. В тот вечер она решила заняться Бенжаменом. Он натер маленькие ступни мелом, взял акробатический шест и шагнул на трапецию. Напрасно. «Да, кроме брата банкира у меня есть другой брат, да. Жандарм. Да». И сорвался вниз. Мадам продолжала в упор смотреть на кучку жал-

ких останков, бродячие циркачи на деревенской площади ударили в кимвалы. Бенжамен упаковал незатейливый скарб и убрался восвояси, а чуть позже и вовсе сгинул в девственных лесах.

– Ты видишь! Нет, ты видишь! (Баронесса кричит! – шептали перепуганные деревенские жители. – Что это с ней?) Ты видишь, этот Бенжамен ушел и ни слова никому не сказал. Все из-за Цезаря! Разве с таким родственником выдашь Изабель замуж?

– А Жюльен, дорогая? Я всегда думал...

– Жюльен? Да, правда, я его приглашала на детские праздники в саду. С венецианскими фонариками!

Она расплылась в улыбке при воспоминании о фонариках и на мгновение обнажила свои зубы водолаза в скафандре.

– Вот и славно! – Эжен немного приободрился, – знаешь ли, милая, этот Жюльен... Почему бы ему не жениться на Изабель? Он был здесь вчера.

– Да ты ничего не понял! Да ты...

Она задохнулась от ярости.

– Он же уезжает... на все лето... учителем к фабриканту. Он уезжает, ты слышишь? Отвечай, вместо того, чтобы пялиться в окно.

Эжен молча глядел на озеро, поддернутое рябью дождя. Снова дождь! На виноградниках! Он прекрасно знал, что до драки дело не дойдет, а потому и молчать можно сколько угодно. Действительно, Мадам вскоре принялась рассуждать о гигиене, энергично вычищая грязь из-под ногтей: «Из меня бы получился отличный врач! Новые открытия... Я бы руководила, организовывала, работала. А здесь...» Она перевела немигающий взгляд с обшитых деревом стен на печку с белыми и золотыми изразцами, потом на упрямую спину Эжена, глянула в окно на озеро, на серые висячие сады.

Перепуганный Бенжамен семенил прочь на тонких ножках, натертых мелом; он обручился с Элизой, миссионеркой, прятавшей зоб под фиолетовым шарфиком, Элиза в пять лет выпала из окна, и рука, сломанная выше локтя, с тех пор была плотно прижата к телу и не разгибалась. «Конечно, Бенжамен хотел на мне жениться, – размышляла Изабель, короткая верхняя губа растягивалась в улыбке. – Когда мужчина приносит вам свою диссертацию по теологии... Но я не захотела». Деревянная шка-тулка для марок, несколько ракушек, которые в Африке служат мелкой монетой, – аллювий, остав-ленный Бенжаменом, впрочем, теперь его звали не Бенжамен, а Догодела, Маленькая Река. Негр из соседней хижины, давший ему это имя, писал друзьям на огромных, с пальмовый лист, визитных карточках: «Отныне я зовусь не Догодела, а *Уродо-нал*». А маленький миссионер стал Догоделой, нич-то не исчезает, ничто не создается, так, кажется, в 1910 году сказал профессор, похожий на Анатоля Франса; ничто не исчезает, даже имена юных по-койниц, медленно сыплющиеся на землю, как во-ланчики из далекого прошлого, розовые перышки воткнуты в основание из воска, накрытое кусочком бархата и перетянутое золотым сутажем, который голубка-горлица каждый раз завязывала потуже, прежде чем отдать воланчик детям в руки. Дого-дела понес лекарства больной негритянке – с виду утопленница: посеревшая кожа, вздутый живот – осмотрел ее, вытащил клеща из худосочной ляжки и отправился домой через лес, деревья-великаны встретили Догоделу, корча рожи, и сомкнулись за ним, переплетаясь конечностями. Нельзя разбра-сывать крошки в лесу, голодный тигр крался следом и подъедал их. Больше Догоделу никто не видел. Напрасно его жена, крупная, но робкая, махала

на пороге фиолетовым шарфиком, обычно прикрывавшим зоб; чешуйчатый зверь выгнул спину в грязном озере, подняв при полном безветрии высоченные волны. Бедный Догодела, Маленькая Река! Впрочем, даже если бы на горизонте Изабель возникли новые женихи, вряд ли Мадам согласилась бы спрятать королевские глаза за лорнетом, висевшем на пышной груди. Все эти годы Цезарь, бродяга, бездомный, уходил из Фредега в Дом Наверху и возвращался обратно, отмечая своим появлением солнцестояние и равноденствие. Три старые кухни, ко всем их прочим уродствам добавлялись панталоны из грубого льна, перехваченные под коленкой вязанной крючком подвязкой, взяли курс на смерть. («Скоро, скоро, – шептала Мадам *with gusto*, – у соседок будет покойник!») По вечерам в небе мерцали огни деревни-двойника, невидимая рука очерчивала приблизительные границы озера, два диких зверя, берег и вода, лизали друг друга и терлись боками. Каждую весну Цезаря вновь ждала голая земля виноградников. «Земля! Земля!» – кричал он, присев в волнении на крошечный, как у прислуги, чемоданчик. Следующим женихом Изабель стал Жюльен, на его вялой щеке темнела вмятина от перста создателя. «Мой юный друг, – обратился к Жюльену пастор, слова со свистом вылетали между истертыми проповедями зубами, – времени для научных занятий вам хватит. Дел-то – сущие пустяки: подготовить двух девиц к экзаменам, одна, правда, требует особого отношения, очень бережного». Жюльен отправился в путь, весь в черном, высокий воротничок с обрезанными уголками натирал синюшную шею. Господин фабрикант, между бровью и щекой зажат монокль, под темными редкими волосами поблескивает розовая лысина, принимал Жюльена

в кабинете, по размерам не уступающем Европе. На подвесных полках теснились фигурки животных, коровы, яблоки, подсвечники, рамка с куском старинной скатерти. Фабрикант послунывил указательный палец, перелистнул страницу свежего «*Mime Bathylle*». «Бонжор, бонжор», – поздоровался он, протягивая Жюльену два пальца. На пригорке стояла куриная деревенька, господин фабрикант занимался производством яичного ликера. Его жена созывала гостей, громко хлопая в ладоши. «Приятного аппетита, дамы-господа», – желала она. Девушка, одна из тех крупных красавиц, что рождаются в начале каждого века, сидевшая напротив Жюльена, вместо пояса надела собачий поводок со стальными заклепками. «Боюсь, этим летом не будет горошка, – высказала предположение мать семейства – Овощей не дождемся, урожай будет *скундый*». И так ли уж велика вина учительницы, которая когда-то не поправила Эмиля, воспитанника общины, пробубнившего *скудность*? Дрозд выводил трели на платане, мало-помалу начали краснеть серые ветки липы, учительница была втайне влюблена в сына синдика. И если Эмиль прочитал *скудность*, то только потому, что задержался – вот он прыгающей походкой идет к доске, на попе – заплата, обтрепанные штаны до колена, слюни пузырятся в уголке фиолетовых губ – задержался в самой глубине глубокого детства. Они смеялись над Эмилем, эти девушки с уже округлившимися формами, табунами разгуливавшие по улицам, качаясь под порывами ветра, длинная прядь одной намоталась на яблочный огрызок, который держала в руке другая. Эмиль разобрал по слогам *скудность*, учительница прослушала ошибку; выставив ногу вперед, скрестив руки за спиной, она, пыльные кудряшки на макушке, смотрела в окно, как мар-

товский ветер треплет молодую рыжую шевелюру неподвижных платанов и тополей; вдруг стебли соломы вихрем взмыли в воздух и принялись колоть невидимые головы. Она не исправила *скудность*, хлопнула ладонью по парте и велела петь *Чудесный май, чудесный май...* Клотильда с тех пор не воспринимала слово «скудность» и до последних дней своих повторяла *скудность*. «Бонжор, бонжор», – вежливо здоровался богач, сталкиваясь с невзрачным воспитателем в коридорах замка. «Бонжор, бонжор», – бросил он нетерпеливо однажды утром, восседая в кресле посреди кабинета, в размерах не уступающего Европе, воспитателишке, застывшему перед ним навытяжку. Удивительно, что ему, собственно, надо? Богач в халате на голое тело, слюнявя палец, листал «Сумму» Фомы Аквинского, лежавшую на высоком дубовом аналое. Солнце пускало сквозь окна красные и синие лучи, на прозрачных стеклах едва угадывались тонкие рисунки пленников, вязы и акажу задыхались и звали на помощь под опускающимися до пола репсовыми скатертями с помпонами, дедушка на гигантской фотографии уже снимался без пекарских принадлежностей в дряхлых праздных руках.

- Мсье... – робко начал Жюльен.
- Чего желаете, чего желаете, мой юный друг?
- Мсье, мне нужно с вами проститься.
- Как же это, вы должны были остаться на все лето, а! Досадно! Кто-то болен или умер?
- Мсье, я вынужден уехать.
- Вынужден уехать? Но зачем?
- Я не могу остаться, я и так уже слишком задержался.

Лопата звякнула о лейку, Джемс завел газонокосилку, свежестриженные волосы лужайки, взлетая, рассыпались в теплом воздухе. Жюльен,

услышав журчание оросительного фонтанчика, поспешно отринул все мысли об Изабель. «О! скорей бы он уже ушел, этот умирающий воспитателишка. Так хочется до обеда закончить «Сумму» Фомы Аквинского!»

– Слишком и потерял покой, – Жюльен вспотел, края воротничка врезались в синюшную шею. – Потому что, я полюбил мадмуазель, вашу дочь.

24 – О, какая досада! И какую же из двух, скажите на милость?

Эжени слишком красива, увы, претендовать можно только на бедную малышку Матильду... Разъяренный отец схватил его за плечо, почувствовал вялое, белое тело под черным сюртуком, ослабил хватку и отступил. Жюльена попросили собрать чемоданы и покинуть дом.

– Ну-с, ваш молодой человек уезжает, – объявил папаша, усаживаясь в кресло с зеленой обивкой, – да, уезжает, он не желает оставаться, и вы ни за что не угадаете по какой причине. Но начнем с тебя, что ты сейчас проходишь? Фараонов? А почему он не заставляет тебя читать «Таис»? Это гениально! А какой французский! Ах! если бы люди в этих краях читали «Таис»...

Прохаживаясь однажды между курятниками, он услышал крик ребенка: «Обожди!» Что за «обожди», малыш? Ребенок шлепал босыми ножками по грязи, его мать, вдова, нанималась на поденные работы. Производитель ликера послал им брошюру «Говорите правильно». Правильно не кусок, а ломтик пирога с черносливом. Он ловко завернул книжицу в бумагу, загнул аккуратные острые уголки, не прошло даром время, когда он служил у аптекаря и фасовал травяные сборы, отрывал с катушки ленточку, перевязывал пакетики, вся одежда пропахла донником, аптекарь водил дружбу

с князьями и отправлял за моря посылочки со смесями трав, собранных в Идумее; местные жители с кюре во главе раз в год торжественно встречали знатных друзей аптекаря, дети бежали за кортежем по лужам, мешая саламандре собираться на княжескую свадьбу; но, увы, кареты исчезали за оградой-обманкой, а юный слуга, на которого оставляли хозяйство, слонялся из комнаты в комнату, от ромашки к васильку, от василька к шалфею и царапал ножницами на окнах, покрашенных синей краской, как того требовало хранение трав, рисунки пленников.

– О, Анатолий Франс! *Настоящий* гений! Великолепный французский язык!

Он разглядывал свои пухленькие ручки, лежащие на краю стола.

– Но Daddy...

– Ах, да, я забыл... Воспитателишка. Ни за что не догадаетесь, почему он уходит. Потому что, он влюблен, влюющуюся в одну из вас.

Бедная маленькая Матильда прижала ладошку к сердцу и изо всех сил старалась не опускать голову, у нее было квадратное, как лопата, лицо, и прыщи на нем, словно созвездия, меняли положение каждый день. Эжени расхохоталась. Двойной подбородок матери Эжени и Матильды упирался в мощную грудь, безжалостно поднятую корсетом, не дававшему ей опасть до вечера. Ночью утомленный корсет отдыхал на зеленом репсовом стуле, окантованном гобеленовой лентой, наследстве бабки-прачки, задумчиво подносящей к влажному рту морщинистой рукой, торчавшей из белого бархатного рукава, кусочек дыни на кончике ножа.

– Он признался, что любит, что люююбит... нука, давайте...

– Но Daddy, – надулась красавица Эжени, – уверяю вас, я ему не давала ни малейшего повода. О, я замечала...

Эжени тихонько покачала головой; «нет, нет».

– А речь-то о Матильде! – воскликнул отец.

26 Эжени вскочила и выбежала вон, отодвинула тяжелый ковер, который занавешивал дверь кладовой, где хранили продукты, и толкал всех в спину руками в лиственных узорах. Отец повел Матильду к себе в кабинет, обрезал сигару, похлопал себя по бокам, выбив немного пыли из велюрового пиджака; потолок с золочеными кессонами под еле заметным наклоном спускался к его черно-розовому черепу. «Что? ты его любишь? ты шутишь, дочь моя. Взгляни, это все твое». Он распахнул окно, показал на пригорки, где плотными рядами стояли на сваях домики-шкафы; куры прогуливались стайками, только Фаншон отошла в сторонку и мечтательно выклевывала что-то невидимое из свежевскопанной земли, принимавшей по покойнику в минуту; но Авраам, сорвавшийся с карниза, нарушил эту математику; он весил ничтожно мало, и когда Цезарь – посыльная видела, как накануне Цезарь вытащил камень под закрашенным окном – его столкнул, он сразу поднялся и поплыл по воздуху к людям, как волшебный обруч-серсо, который Арманд пускал на террасе, и обруч сам по себе катился обратно в руки детей.

– Ради тебя я строил эти курятники! – Все эти...
– Предприятия!

– Но папа, я его люблю.

– О! какая такая любовь, какая такая любовь?

Жюльен паковал вещи на мансарде, стол украшала маленькая Эйфелева башня, подарок мсье Эйфеля, гостившего в доме и отбившего на родину с ящиками яичного ликера. На элегантной

металлической подставке с ручкой, изогнутой, как лебединая шея, стояла мисочка для бритвы. Вдруг вошла Матильда и с усилием, тяжелая рука давила ей на затылок, подняла к Жюльену лицо, сплошь покрытое прыщами.

– Отец сообщил... Вы уезжаете?

– Я должен ехать.

– Почему?

– Я уже объяснил, что я слишком страдаю.

– Почему же?

Зачем она притворяется, что не понимает? На мгновение ему страшно захотелось промолчать и продолжить набивать чемодан рубашками и опасными целлулоидными воротничками, которые воспламеняются от свечей, от сигар, от искр, летящих из-под копыт. В августовские ночи из окон Фредега видны огненные дорожки: это путешественники бросаются в озеро, чтобы потушить горящие воротнички. Жюльен распаковал вещи, вечером Матильда, сидя на подлокотнике его кресла, курила сигарету, выпуская из уголка губ дым к потолку и называла Жюльена «мой милый».

– Мсье, вы читали Огюста Конта? – спросил Жюльен. – Нет?!

Матильда кивала, глаза влажные, рот приоткрыт, и впервые не послушалась отца, велевшего ей идти спать, уже девятый час, а то опять будешь ворочаться полночи. Матильда поднялась только вместе с сестрой: «Нет больше стриженного ягненка», – выпалила она на лестнице. Жюльен на следующий день отправился в путь, позвонил в дверь башни, Бенжамен только что сложил убогий скарб и вернулся к бурной миссионерской деятельности. «Жюльен!» – вскрикнула Изабель и кинулась к дверям гостиной. «Он-то мечтает на мне жениться, но я сомневаюсь». Жюльен присел на бархатное

канаве, Семирамида уже готовилась улыбнуться и слегка скалила свои тусклые, как у водолаза в скафандре, зубы; перед окном сверкали на апрельском солнце висячие сады, полные бледно-голубых цветов. «Вроде, вид у Мадам сегодня довольный, – перешептывались деревенские жители, – не вздыхает, не чихает. Тем лучше для наших окон».

– Жюльен, уже вернулись? Мы думали, что вы еще полгода там пробудете.

28 Он улыбнулся, зубы желтые. Да вот кое-что случилось, одно радостное событие. «Для меня радостное».

– Я... я обручился... с дочерью фабриканта.

Изабель с такой силой вцепилась в каминную доску, что пальцы побелели, как у Гвен, которая схватилась за каменный выступ стены, поросшей мхом и папоротником, когда разговаривала с Цезарем и поняла, что он на ней не женится и лучше ей уехать с Фрицем, затянутым в новый корсет.

– С дочерью фабриканта? С какой? С Эжени?

– Нет. Я женюсь на Матильде. О! Она намного младше Эжени, совсем юная. Скоро свадьба.

– Задерните шторы, – закричала Мадам, – у меня от весеннего солнца голова разболелась.

Жюльен принялся рассказывать о том, как приехал на вокзал, где его уже ждала машина, как по пути случайно встретил Эжени со слугой, направлявшуюся в город в двуколке и приветливо помахавшую ему кнутом, как радушно принял его фабрикант; теперь Жюльен личный секретарь будущего тестя, его правая рука, они вместе читают «Суммы» Фомы Аквинского, скоро поедут в Италию, Париж и Гейдельберг, а после Жюльен собирается войти в курс всех дел, в качестве компаньона, разумеется, для моральной поддержки. «Мне очень пригодится теология». Мадам напослед-

док поинтересовалась, известно ли этим девицам о существовании логарифмов, Жюльен ответил, что вряд ли, и откланялся. В Венеции на канале Матильда с горящими глазами и полураскрытым ртом слушала посредственную серенаду. Они поселились в «Даниэли». «Бедная тетя Эмма, – шепотом сокрушался Жюльен, – подумать только: умерла в Венеции, опрокинулась через край гондолы и утонула». На Лидо Жюльен увидел Мадам и Эжена, качавшегося с пятки на носок у нее за спиной. «Встречу ли я завтра на Торчелло своего посольского атташе, – Мадам в задумчивости созерцала морскую гладь, – после стольких-то лет?» Мадам и Эжен по очереди потрясли вялую руку Жюльена, тот сообщил, что живет в «Даниэли», Матильда отдыхает в апартаментах, ей вредно перевозбуждение любого рода. После короткой паузы Жюльен выдал: «Лучше бы я женился на бесприданнице». И побежал обратно в «Даниэли».

29

Между тем наступила весна, и Цезарь покинул Дом Наверху. Скорее, скорее, ему не терпелось вновь увидеть голую, сиреневатую землю первого виноградника; в конце аллеи Мелани, прижав ладонь к волнующейся груди, провожала Цезаря взглядом. Зое, потерявшая любовь братьев, в белом платье сумасшедшей, в последний раз за зиму грела у изумрудной изразцовой печки пальцы с непомерно длинными ногтями. Если Цезарь отправился в путь, значит, зима сдалась, по берегам ручьев закраснелась ива, и на весь мир завоняли конюшни. Маленький слуга из Дома Наверху, опершись о наличник, дышал свободно; до осени достаточно времени, чтобы сошли синяки от побоев Цезаря. Мелани решила почистить Авгиевы конюшни и замерла на пороге. На полке в углу – чугунный подсвечник, грязный стакан, превратившееся в маслянистую

жидкость вино на дне бутылки из толстого зеленого стекла, осколки которого неожиданно оказываются белыми внутри. Неужели Цезарь пьет? Да, иногда, выходя из конюшни, он пошатывается. Мелани украдкой допила терпкий тягучий осадок. Лошадь переминалась с ноги на ногу на соломенной подстилке, Мелани вдруг вспомнились сказочные животные: в детстве, стоя на пороге дома, она видела огромных лошадей, скакавших в тумане между небом и землей.

– Разве Фредег – замок? Это всего-навсего большой, грубый деревенский дом, – говорила Мелани за ужином. – И что особенного в башне, не понимаю? Вот у нашего соседа Иосифа Диманша чудо, а не башня! У основания тонкая, наверху широкая!

Адольф ребром ладони соскреб крошки со скатерти. «Зачем вы копите земные богатства?» – рассеяно думал он.

– И, кстати, во времена их превосходительств Фредег был амбаром... В любом случае мы могли бы получить один из ваших виноградников, потому что твой брат забрал Фредег. Замок! – с нажимом повторила она.

Да какой там замок, большой, грубый, деревенский дом.

– Если бы еще не снесли вторую башню... Но мне все-таки непонятно, по какому праву Эжен взял этот с позволения сказать «замок»?

– Потому что он старший, полагаю.

– Старший? А Цезарь?

– О, Цезарь...

Цезарь ушел на полгода. Весна! Воспитанник общины дышал полной грудью, а для Мелани весной запахнет только осенью, когда вернется Цезарь. Цезарь спешил прочь от Дома Наверху, где всегда держал при себе компас, чтобы не перепу-

тать восток и запад, быстрее, быстрее к Фредегу; там по утрам из глубины вод встает ослепительное солнце. Цезарь остановился на повороте дороги, сел на перехваченный веревкой чемоданчик. Озеро чуть дрожало под грузом рыбацких лодок, Мадам, вернувшись из Италии, тоже почуяла весну. Даже те, у кого напрочь отбило память, безошибочно угадывают начало весны, несчастные обитатели приюта поднимают к небу гноящиеся глаза и вытягивают трубочкой синеватые губы, из которых тонкой струйкой течет слюна. После венецианских дворцов Фредег показался Мадам уменьшенным втрое. «Цезарь уже здесь? – спросила она. – Вроде в конюшне тихо. Ах, Цезарь – наш крест! Но не будем осуждать, как говорит твой брат Адольф. Дурак он, конечно, этот Адольф». Цезарь тем временем уже шел по деревенской улице; в волнах, древних, как мир, отражались перевернутые дома. Вот и сады Фредега. «Кто же мне тут веток накидал?» – проворчал он. Поставил чемодан, сдвинул шляпу на затылок, пнул кучу хвороста. «Цезарь! Явился, не запылится, – прошептала Мадам, глянув в окно и запахивая на груди черную бархатную шаль, от которой веяло холодом. – Что вы там расшумелись, Цезарь?» Он развернулся и молча побрел со двора вниз к песчаному берегу. Рыбаки выловили сетями римскую вазу и решили отнести ее в замок, у которого теперь осталась только одна башня. Но стоны второй, разрушенной, слышатся до сих пор, когда дует водер. «А если Цезарь потребует свою долю? – беспокоился Эжен, широкое и скучное розовое лицо с правильными чертами, какие часто писал Рафаэль. – Если он женится? То есть снова женится, и если на этот раз... Что нас ждет? Мы продадим замок? Будем ежегодно выплачивать ипотеку? Откуда у нас деньги? Позволь спросить?

Поэтому, дорогая, не зли его. О, – поспешно прибавил Эжен, заметив, что жена медленно поворачивается, – нет, конечно, не ты...»

– Я? я его злю?!

– Нет, нет, милая, не нервничай. Нет, он сам виноват. Не сознает, что мы для него делаем...

– Крыша над головой, сыт, полгода здесь, полгода там, – мечтательно протянула она, – как сыр в масле катается! Оплачивает себе пенсионную страховку и все. Ах, это наш крест! И как тут выдать замуж Изабель?

Он вообще поздоровался?! Нет, ему не до нас, стоит возле поленницы и ругается. А как он их позорит! «Каждое воскресенье идем в церковь позади замусоленной бархатной куртки». Цезарь аккуратно обходил тень разрушенной башни, откуда, потянувшись за папоротником, упала горлица, но никогда не упустил случая наступить на тень Мадам. «Гляди, чемодан стоит на террасе. А Цезарь где? Держу пари, уже на берегу». Мадам величественно поплыла по комнатам. Цезарь лежал на берегу, с наслаждением ощущая, как проминается под ним голая земля, перебирал розовые и серые камешки, выброшенные мартовскими волнами, смотрел в небо с синими окнами-обманками и летящими ангелами и думал, что ноябрьский небесный свод – лучшая декорация его жалкой жизни. Тяжелые занавеси медленно раздвигались, по темному небу, вытянув длинную шею, летела одинокая птица. Сонная пчела, очнувшись от зимних сумерек, тихонько ползла по песку, как планеты ползали на пороге мироздания, греясь в лучах первого, только что сотворенного солнца, и, оторвав, наконец, липкие лапки, грузно взлетали, чтобы занять свое место во вселенной. Цезарь встал, пошел, шатаясь, как пьяная птица, путая

восток и запад, прошлое и будущее. «Напился», – прошептала Мадам. Вечером бродяга, бездомный, вылез на карниз – подол ночной рубахи раздувался на ветру и бил по ногам, заросшим рыжей шерстью – чтобы закрепить камень под покрашенным окном. Два окна рядом: в этой комнате Цезарь, растолкав толпу незнакомцев, увидел умирающую горлицу. Может быть, дети еще там, сбились в кучу возле ее постели? Ведь нет ни малейшего сходства между ними и нами, розоволицым Эженом, хлопавшим брата по плечу: «Пока я жив, для тебя в моем доме всегда найдется тарелка супа», рано облысевшим Адольфом, щурившим глаза за стеклышками лорнета; Зое, решившей сойти с ума, чтобы избежать жалости; Цезарем, морковно-рыжая шевелюра подстрижена кружком волосок к волоску. Если бы с детьми что-то случилось, все бы знали, плохие новости не задерживаются. Куда же пропали дети? В комнате Цезаря осталась одна штора, вторую украла посыльная и с тех пор носит зеленое платье – почему посыльной вообще позволили войти к горлице – озеро по ночам светится и мешает Цезарю спать. Он отсыпается днем в конюшне, прислонясь к теплому боку Джени, которая вдруг содрогается, как огромная планета, и уносится кружить во вселенной. Проснувшись, он кричит, ругается, и мальчишка-слуга пулей вылетает во двор. Тем временем Эжен бережно поставил на письменный стол бумажный кораблик – один из тех, что складывала из обеденного меню юная служанка-венецианка, развлекавшая ребенка на морском отдыхе, и бросала крепкой загорелой рукой в волны лагуны. Всю поездку Эжен прятал кораблик в коробке для канотье. «Ты бы не сумела сделать такой кораблик», – сказал он, кивая подбородком в сторону лагуны. Мадам медленно встала.

Но нет, слава Богу, только спросила: «А служанка, наверное, ничего не смыслит в логарифмах?» Она и в своей дурацкой деревне часовщиков, где у всех мужчин под бровью – лупа и куда по воскресеньям из Франш-Конте наезжают гости с одышкой и сдобными пирогами, сложенными пополам в серых холщовых сумках, вела беседы о логарифмах. Эжен был настолько поражен, что на следующий день после бала сделал ей предложение. И когда доктор приехал во Фредег, чтобы помочь Мадам разродиться Авраамом, она держала в руке зеленую книжечку логарифмов, заложив пальцем страницу пятьдесят. «С ребенком все в порядке», – сообщил доктор в доме Роз, которая, несмотря на печеночные колики, отдавала распоряжения служанке, пока та, привалившись к дверному косяку, почесывала под мышкой, засунув руку в вырез кофты. «Ребенок здоров, назовут Авраамом. Мадам, судя по всему, не умеет обращаться с детьми, логарифмы ее интересуют куда больше». Служанка рассказала об этом на кухне. В тот же день разнощица газет, нищая древняя старуха, шаркавшая по деревне в стоптанных туфлях – ногами она латала обноски, чтобы потом раздать матерям, измотанным заботами о большом семействе – подобрала на компостной куче Фредега полуживое растение и пристроила его у окошка своей мансарды на разжелобке листового железа, по которому дробью стучали голубиные лапки. Когда растение зацвело, старуха вспомнила разговор о логарифмах. В крошечное окошко она видела кусочек озера и птицу, летевшую к Фредегу. Мадам тоже внимательно следила за птицей. «Как же животные меня любят!» Эжен вернулся из деревни и с порога, не сняв шляпы, крикнул: «Элиза больна». Мадам ухом не повела. «Старая Элиза заболела. Бронхо-пневмония. Будем

надеяться, спеси у нее теперь поубавится». Изабель, уткнувшись в пяльцы, училась филейному вязанию. «Как? – воскликнул интернированный французский офицер, ростом с Пипина Короткого, симпатичная попка-орешек оттопыривала фалды синего мундира. – У нас все девушки...»

«Старая Элиза задыхается, ей привезли кислородные баллоны», – крикнул Эжен вечером. Элиза задыхалась в крошечной спальне, которой тоже не хватало воздуха из-за широченной кровати из вишни, занимавшей ее почти полностью. «Мужайся, ты поправишься», – подбадривал больную продавец корсетов, дошивший у ее изголовья пояс для беременных. Он, кстати, сочинял прекрасные стихи для рекламы своих поясов и корсетов! Элиза так глянула на продавца, что он выронил кусок розового атласа и бисеринки пота засверкали у него на лбу. На следующий вечер Эжен вернулся, повесил дрожащей рукой канотье на крючок и крикнул: «Старая Элиза умерла. Сдохла. Нет змеи, нет яда». Напрасно Мадам пыталась парализовать Эжена взглядом, он осмелился уйти и гулял по берегу с Цезарем под ручку. Назавтра неожиданно близко подступившие горы окрасились в сине-зеленый цвет. В саду было довольно свежо, Эжен с саженцами, обернутыми мокрыми, кое-где порвавшимися газетами, плелся за Мадам. «Пару дней назад, – промямлил он, – я посадил на клумбе пеларгонию». И поспешно добавил: «О! я могу ее выполоть, если ты считаешь... С завтрашнего утра я буду вставать на час раньше и работать в саду». – «Да, – ответила она, – да, Эжен». Эжен взмахнул топором и зарубил ее насмерть. Утром он проснулся в обычное время, спустился к завтраку и обнаружил, что угол скатерти откинут на его тарелку, а Мадам метет паркет собственными прекрасными, белыми, как

у замурованной пленницы руками. Между тем мертвая Элиза по-прежнему лежала на кровати из вишни. Напрасно она поджидала Мадам, встреча состоялась гораздо позже, когда Цезарь вынул доску из днища «Данаи» и пригласил Мадам на прогулку по озеру. В тот день, как и сегодня, собиралась гроза, огромная птица парила над Фредегом, взмах крыльев – она полетела в сторону Италии, но вернулась в небо Юры и рухнула с высоты небес на землю. «Просто поразительно, – бормотала Мадам, стоя у окна, – до чего меня любят животные. Вы бы видели Дженни в конюшне! И лебеди меня всегда провожают, а однажды чайка кружила и кружила над моей головой». Мадам высунулась из окна, чтобы отследить полет заморской птицы, и увидела на дороге, ведущей от вокзала, нового кандидата в женихи Изабель: Пипин Короткий, при полном параде, ноги дугой, симпатичная поп-ка-орешек под фалдами синего мундира, быстро приближался к Фредегу строевым шагом Самбрэ-Мез. «Я могла бы выйти за него, – мурлыкала назавтра Изабель. – Не будет же мужчина просто так рассказывать вам о своей тете, баронессе де Сент-Амели, убитой в страстную пятницу в церкви в Пасси, о матери, о родном доме в Сент-Макру и спрашивать: «Вы не учились филейному вязанию, мадмуазель Изабель? У нас все девушки только и вяжут...»». Но уехать в гарнизонный городок? И все же Изабель постаралась освоить филейное вязание и сделала столько вышивок, что позже уроженцу Ури и Догоделле пришлось отодвигать висевшие повсюду скатерти и салфетки, чтобы подойти к ней. Пипин, молодой солдат, военнопленный, до встречи с Изабель проживал в тени комнатной липы в гостиной фрау Клейст в Потсдаме. И ухаживал за генеральским садом. Много

лет назад фрау фон Клейст посадила в горшок семечко, которое ей прислала кузина из Бамберга, баронесса Хильда, бледная моль, поджидавшая жениха. Липа росла, достигла полутора метров: в Швейцарии, Франции и Италии выше ей бы расти не дали; два метра: Берта фон Клейст поставила липе подпорку, император приказал держать порох сухим. Два метра с половиной: Берта пустила липу вдоль стены, парусники один за другим причалили к песчаной земле Бранденбурга; три с половиной, четыре метра: были проведены смотры военноморского флота. Липа пробилла потолок, император объявил войну. Фрау Оберхофгертнер, имевшая обыкновение заглядывать со своей Путти на кофе к фрау Клейст, говорила с Пипином по-французски и носила большой бархатный берет. Каждое утро она в резиновой шапочке кидалась в Шпрее и горделиво, не опуская плечи в воду, плыла вдоль берега. В апреле, когда вдоль песчаной отмели вновь заскользили белые парусники, Пипина удалось обменять на юнкера. Он растворился в утреннем тумане, фрау Клейст поплакала тайком, под зеленым гипюровым платьем ходуном ходили планки корсета из китового уса. Пипин пересек границу, вокруг незнакомого городка цвели вишни, земля вдруг пошла вверх, реки зазеленели, засеребрились, засияли свежестью; из пены, праматерии мира, рождались черные скалы. Бегущие реки тянули за собой озера, мимо которых ехал поезд. Пипин соскочил на перрон, выпрямился во весь свой малый рост и строевым шагом Самбр-э-Мез двинулся в путь. Во Фредеге он занял спальню графа, где пока еще висели венецианские гардины с подхватами-ангелами, ту самую, где граф когда-то, не смея пошевелиться, ждал, что у близнецов лопнет терпение. Апрельский ветер дул зеленью и ароматами

на еще вчера желтевшие поля. Цезарь громко ругался в конюшне. «Деревенщина», – проворчал Пипин. Он видел Цезаря издали: потертая рыжая бархатная куртка, по ранту обшитая косами, точно такие утром в воскресенье крестьяне заплетают граблями по краю навозной кучи. «Деревенщина!» Пар валил из ноздрей Цезаря, стоявшего на пороге конюшни. Впрочем, он редко показывался на людях, забивался поглубже в свое теплое убежище и читал прошлое в рыжеватой навозной жиже. «Где дети?»

– Ты слышишь, он опять бьет мальчишку-слугу. Тяжкий крест! О! это мой крест. И замолчи, прошу тебя, что ты заладил: «доля, доля». Полгода здесь, полгода там, как сыр в масле! И потом он вряд ли заикнется о разделе после той неудачной женитьбы, что ни говори, а Провидение существует. Замолчи ты, наконец, вот и наш французский офицер.

Пока лошадь, которую Цезарь вел под уздцы к фонтану, цокала по мостовой, как человек в подбитых гвоздями башмаках, Пипин, войдя в гостиную, чуть не столкнулся с благородным мужчиной в тонкой золотой раме, точной своей копией, и от неожиданности выставил вперед бамбуковую тросточку. У Изабель подкашивались коленки, и для Пипина, и для Догоделы она была слишком высокая: оба глядели снизу в черные дыры ее ноздрей. Мать Пипина примчалась незамедлительно, пересекла всю Францию в поезде, битком набитом господами с бородками и крестьянками с корзинами, из которых высывались гусиные шеи. Мать Пипина достала из сумочки для рукоделия клубки и катушки, перекусила нитку прекрасными французскими зубами. «Милая девушка, – обратилась она на следующий день к Изабель, – неужели вы

не обучены филейному вязанию?» Напрасно Изабель пыталась возразить, что знает вышивку ретичелла, и английскую тоже, и венецианский шов, и болонский, и ришелье. Та не слушала.

– Как вы? не умеете делать морской узел? ну, милое дитя!

Она разложила на коленке, обтянутой подолом желтой шерстяной юбки, вышивку с птицей, похожей на ту, что веками сидит под радугами Ильде-Франс на каменном, отполированном дождями плече, и ловко орудовала крючком.

– Когда дети были маленькие, – рассказывала Мадам, – мы давали балы в саду и зажигали венецианские фонарики.

Пипин беседовал с Изабель на балконе, озеро с глухим шумом билось о берег, никто не слышал прибоя, кроме иностранца, сидевшего за столом на террасе трактира, чуть позже он с интересом наблюдал, как суетились гости из Франш-Конте, серые холщовые сумки со сложенными вчетверо сдобными пирогами, узнав о том, что Авраам разбился. Сколько раз Цезарь вынимал камень из карниза под покрашенным окном и сколько раз возвращался ночью, чтобы приладить его на прежнее место, ночная рубашка раздувалась и хлопала по ногам, поросшим рыжей шерстью! Сколько раз он предлагал Аврааму сесть в спасательную шлюпку и поплыть на помощь «Орлу»! А потом бегал по берегу с криками: «Вернись, Авраам! Вернись! Это я, дядя Цезарь!» Поздно, лодка уже бороздила волны.

«Париж!» – говорил Пипин Изабель. Париж: мосты с пегасами и нимфами, гении свободы на золотых шарах отражаются в Сене и в сером парижском небе. Пока прибывающий поезд ищет свой путь среди тысячи рельсов, поворачивает, трясется

и клонится на бок, город опускается на землю. «А когда подъезжаешь к Риму, – рассеянно думала Изабель, – в воздухе вырастают огромные акведуки и триумфальные арки; я бы пошла замуж за итальянского графа; бледный и высокий, воробьи в складках жилета, он часто стоял у окна, выходящего на улочку с домом Жибод, и смотрел на меня. Он подарил мне прощальный взгляд, обернувшись в воротах, и пошел за близнецами». Граф, конечно же, хотел жениться, а она не очень.

– В Руане, – продолжал Пипин, – мы живем рядом с Сент-Маклу, хоть у нас и не слишком солнечно, но дом красивый и просторный, а за домом – яблоневый сад. Моя кормилица...

Его брюки потрескивали, как жесткие надкрылья у жуков. «Ну мама, – тянула Изабель, – он мне рассказывал о своей жизни, о школе, об учительнице-безбожнице, о чернильном пятне на носу, о садовых ивах, подстриженных в форме куриц; армия, мама, – это лучшее, что есть во Франции». Ради Изабель Мадам решила не буравить взглядом мать будущего зятя, разложившую на коленях сетку для филейного вязания, сидела, неподвижная, как скала, и с любовью смотрела на Пипина, сыночка: такой складный при всей его низкорослости, похож на синего с красным жучка. В те времена, когда ее соседом был святой Габриель, суровый и величественный, она одним щелчком посылала жучков на небо: «Кровохлебка, полети на небо, скажи Боженьке, чтобы подарил нам завтра погожий денек, пусть дождик не капает на мою каменную голову». Сколько сил она потратила, пока вместе с усатой модисткой с лорнетом, арендовавшей две комнаты, пропахшие клеем и рисовой кашей, соорудила себе тюрбан XIII века! Теперь Мадам носила только шляпы «а ля Мария Стюарт» с траурной вуалью вокруг

тульи: на всякий случай... Мелани суждено умереть от сердечных мук, а три кузины в домике недалеко от Вье-Коллеж уже взяли курс на смерть... «Все-таки армия, – повторила Изабель в гостиной, – это лучшее, что есть во Франции». Увы! Мадам Скарамаш внезапно увезла сына. Последнее воспоминание, сохранившееся о нем у Изабель, – симпатичная попка-орешек под оттопыренными фалдами синего мундира, свернувшая за угол дома, где рос бесполезный папоротник. «Он бы с удовольствием на мне женился», – шептала она в гостиной. Пока Изабель ходила в бакалею за черным перцем-горошком, щенята сгрызли альбом с образцами филейной вышивки, ей удалось спасти полрозы, колеса колесницы какого-то бога и гриф гитары. На Фредег тихо опускался вечер, Авраам с невидимой флейтой в руке, прильнув к окну, готовился к ночному полету; Улисс, кривобокий, сидел в соломенном кресле, положив несчастную недоразвитую ногу на скамеечку с вышитым оленем, и чистил черные ногти. А Цезарь? Кажется, он под покровом темноты вынимает доску из днища «Данаи». «Такое впечатление, – говорил Эжен при жизни, до того, как уснул в деревянной беседке, спрятавшись от взгляда Мадам, и паук, прибежавший с вод, усеянных фиалками, оставил на его лице багровый след, – что Цезарь вынимает доску в лодке». Пригласит ли Цезарь Мадам на рыбалку? Пока что Мадам неподвижно стоит на балконе, плывущем на фоне волн. Крупные белые руки замурованной пленницы висят по бокам – вся сила Мадам сразу уходила в электрический разряд, если она ненароком задевала кого-нибудь локтем или бедром. Милые, славные мертвецы являлись исключением, их-то можно щупать и обнимать, сколько пожелаешь. «Ммм... как хорошо», – говорила она и уже в дверях

поворачивала обратно и опять принималась обнимать трупы. Но в мирные времена покойники в семьях – редкость. Вот почему Мадам сторожила кончину одной из трех кузин, которые жили вместе и теперь взяли курс на смерть. Кто же будет первой? Биллия, сиреневый пристяжной воротничок, только Биллия отвернется, ее лицо с неясными, как у луны, чертами, моментально забывается. Или злая Аделина, похожая на индейца-сиу: впалые щеки в красных прожилках и сальный пучок, заколотый вязальной спицей на макушке. Или все же Шарлотта, блестящая от жира физиономия, дощатый пол прогибался под тяжелой боярской поступью. Самой последней во Вье-Коллеж приехала Биллия. Сестры наблюдали, как из почтовой кареты поочередно выгрузили чемодан из свиной кожи в пятнах от виски, картонные коробки, перевязанные бечевкой, и Биллию, сиреневый пристяжной воротничок, только она отвернулась, чтобы взять сумочку с туалетными принадлежностями, сестры уже не могли вспомнить ее лицо, нос, рот, расплывчатые лунные черты. Что до Шарлотты, она высадилась из поезда с еще дымящимися чемоданами из козьей кожи и проделала путь от почты до дома пешком; встала посреди мощеного двора, вдавила каблуками бульжники в землю; Шарлотта, глухая тетеря, всякий раз подскакивала от неожиданности, если с ней кто-нибудь заговаривал. «Я здесь!» – радостно вскрикивала Аделина в первые светлые недели вновь обретенного рая; вечером Биллия обнаружила под одеялом шарлоттину грелку в норковом чехле. Увы! Совсем скоро сестры с притворным интересом принялись расспрашивать Шарлотту об Анатоле: «Шарлотта, от вашего сына по-прежнему нет новостей?» А для Биллии клали на круглый стол в центре гостиной брошюру «Как

увеличить пышность груди». (Какая все-таки грудь у Биллии своя или накладная, из пакли?) «Печень замучила, – жаловалась одна – это мое последнее Рождество». – «О! Вы еще нас похороните!» – отвечала другая. И обе украдкой косились на толстый живот Шарлотты, когда-то носившей ребенка. Тяжесть, наверное, несусветная! А рожать через маленькое отверстие! Ужас! Однажды при свете луны Биллия, деревянные фиолетовые руки, отправилась за молоком без пальто. Шарлотта побежала следом, впечатывая булжники в землю, и насильно набросила Биллии на плечи: «Господи, какая тощая!» – боярскую шубу, изъеденную молью еще до того, как графиня залезла в огромный, размером с добрую часть Европы, сундук, только внушительная русская задница с тысячью складок торчала сверху, и швыряла шубы и шерстяные юбки под ноги Шарлотте и другим служанкам, выстроившимся в ряд в огромной зале. Наконец, графиня обернулась, страшное пунцовое лицо, испещренное морщинами, отвесила пару пощечин и уселась пить чай. Дожидаясь молока, Биллия в пальто упрела и простудилась. «Я встретила русских беженцев, – сообщила она дома Шарлотте. – Грязные, слов нет!» – «Самый грязный и необразованный народ в Европе», – подпела Аделина. «Вы ничего не знаете, – тихо выдохнула Шарлотта, – надо пожить их жизнью, чтобы понять... Ах, эти светлые ночи...» Под осинами стоит Владимир, зовет ее, протягивает руки навстречу! «Вы не понимаете... надо пожить в России... там ложатся спать лишь под утро...» – «Ленивый народ, – ответила Аделина, поправила чулок на пятке, поглубже воткнула спицу в шиньон. – Оттуда все ваши дурные привычки, Шарлотта». Утром Биллия осталась в постели с грелкой в норковом чехле на животе; Аделине срочно понадобилось

обжарить кофе на плите, в субботу вечером они грели воду на конфорке и потом по очереди мыли закрутившиеся, в зеленых шишках ступни. Аделина с грохотом ворочала кофе в сковороде. Утренний запах Европы разлился в воздухе, долетел до русских беженцев, бредущих по дороге, остроконечные бороды, раскосые глаза, след веревки на шее, брюхо конусом под черной одеждой с дырами от ключей проволоки и прилипшими комьями земли, на которой, если выдастся несколько погожих дней, растет овес. «Думаю, у меня бронхит», – сказала Биллия, прижимая невесомую руку к правому боку. «От этого не умирают, вы еще нас похороните». Обиженная Биллия поднялась к себе в комнату; ребенком ее ссылали в санатории с легкими соломенными стульями – в каждом окне еврейка с низким лбом внимательно изучала небо и движение птичьих клиньев. Неужели Биллия умрет раньше всех? Хорошо бы послать за доктором в горчичном плащике; он развелся с женой, которая была в два раза толще и выше его и устремляла на мир печальный взгляд тучных женщин, помнивших то время, когда они, работая хвостами, плавали в океане. У Биллии заурчало в желудке, она вытошнилась червя длиной в тридцать сантиметров, дерево ее жизни рухнуло. Значит, под серым шелковым платьем все-таки было тело? Сколько усилий всю жизнь, чтобы надеть ночную рубашку, прижимая подбородком к плечу предварительно расстегнутую блузку или платье! Вечером Биллия не притронулась к рису с молоком в выщербленной миске. Кормить червей, шнырявших туда-сюда в ее животе с таким шумом, что всем было слышно? Никогда! «Хе! – говорила Аделина на кухне, помешивая еду в медной кастрюле с длинной ручкой, упирившейся в крышку чайника на соседней конфорке, – не при-

веди господи иметь мужа». Толстуха Шарлотта, сидевшая за столом, потихоньку вытерла с подбородка жирную каплю. «А детей и подавно! Жизнь на них тратишь ...Растишь, валишься с ног от усталости, а потом... Нет новостей от Анатоля, Шарлотта?»

Аделина жевала беззубыми деснами старый орех, который нашла в саду и расколола точным ударом на каменном резервуаре. Шарлотта тоже выходила в сад, и черная биза, прилетевшая с Востока, кусала ее мясистые щеки, обрамленные седыми прядями. Аделина, ухмыляясь, вернулась домой взять платок из шелковой сумочки, висевшей на спинке стула. Биллия тем временем совсем разболелась, ее вырвало вторым червем. «Лежит прислушивается к себе», – бормотала Аделина, грохоча посудой. Накладная грудь у Биллии или своя? Мари, дочь Элизы, ухаживавшая за Биллией – кто, спрашивается, будет ей платить? – старалась удержать больную в сидячем положении, изо всех сил подпирая ее согнутые в коленях и прижатые к груди худые ноги. Биллия в поту раскинулась поперек подушек и снова видела испанских бурбонов, их земли поросли кустарником, в сутки на человека, попить и помыться, полагался литр воды, и серо-зеленое утро Шотландии, когда щуки украли сэра Гарри, шляпа съехала на затылок, и, без конца оборачиваясь, бросая в сторону берега наглые взгляды, упрямо тащили его к северу. Обрато, кстати, он так и не вернулся. Седые космы Биллии растрепались, она отвернулась к поблекшим розам на обоях, и Мари сразу забыла ее лицо. Так и лицо луны, расплывчатые нос и рот, невозможно вспомнить, если оно спрячется за облаками. «Невероятно. Она не хочет умирать?!» Аделина просыпалась с первыми лучами солнца. Цезарь тоже. Он вернулся во Фредег в апреле и не спал ночами, когда виноградникам угрожали заморозки.

«Спит, спит», – отвечала Мари, клевавшая носом у постели больной. Но Биллия умерла, простилась со своим чахлым тельцем. Мадам, кто ее предупредил, неизвестно – «Покойница! – неслось по округе. – Покойница у соседей!» – тут же прибежала по лужам. Аделина поспешно натягивала корсет с кармашками для накладной груди. Биллия... Аделина старалась не думать, какая грудь была у Биллии; панталоны, вязанная крючком подвязка над коленкой, три юбки, воскресное платье, и вот матушка Гаспар стоит на деревянной лестнице, по которой, рыдая и спотыкаясь, поднимается Мадам. Ох! Биллия, Биллия, пристяжной сиреневый воротничок! Ох, моя Биллия мертва! Надо же, еще вчера я разговаривала с ней. И дала черенок вербены. Ох! она совершенно не умела ухаживать за растениями. Не могу поверить, Биллия умерла. А ведь еще вчера... Ох! моя Биллия! Мадам держалась крепкой белой рукой за перила, отполированные руками десятков покойниц, однажды ночью на этих ступенях двоюродный дедушка повстречал тень своей сестры, спускавшейся на кухню выпить последний стакан воды. «Итак, – с трудом переводя дыхание, констатировала Мадам, – вот и нет больше Биллии. Первая из троих». Аделина судорожно сглотнула. «Видите, не зря она жаловалась». О! только бы Мадам не задела меня тазом, она же вынашивала детей! Но Мадам, проходя мимо, случайно коснулась мощной грудью хилой груди Аделины, обе чуть не упали в обморок, как давным-давно в толпе на площади, где выступали циркачи, крутившаяся на шаре королева Маб, яйцеголовая в жалкой короне, и сиамские близнецы, сросшиеся боками. Зрители, сплюснутые, зажатые со всех сторон, подпирали друг друга и чуть не падали, теряя силы от чужих прикосновений. Каждый украдкой щупал

бок: «А вдруг слева из сердца тоже вырастет настоящая рука из плоти и крови?!» «Она не страдала. И не чувствовала, что умирает», – уверяли Аделина и Шарлотта. Мадам медленно подошла к Биллии и поцеловала ее в щеку. Где-то в комнате взошла луна, освещающая лица новопреставленных на смертном одре. Луна, спутница земли, выглянула из-за веллингтонии, огромной, желтой, четко прорисованной на фоне неба. Мадам с наслаждением целовала остывший труп, уходила, возвращалась с порога: «Еще, – шептала она, – еще!». Потом без приглашения ворвалась к необъятной Шарлотте, восседавшей на кровати из вишни, и поцеловала ее раз двадцать. Но, в конце концов, Мадам смирилась и покинула Биллию; увы! в перспективе у Мадам намечалось не слишком много покойников, среди родственников по пальцам можно перечислить: Мелани, наверное, скоро умрет от сердечных мук, глаза и распухшие ступни Эжена тоже ничего хорошего не предвещали – Мадам же не могла предвидеть, что с озера, усеянного фиалками, прибежит ядовитый паук. Дал гудок последний вечерний пароход, подула черная биза, сегодня ударят заморозки. Мадам отыскивала Эжена в гостиной: «Где Цезарь? Где твой брат?» – простонала она. Где Цезарь? На ярмарке? Обхаживает бабенку из тира, нет, прогуливается за брезентовыми палатками с племянницей музейного зрителя или с дочкой инженера, нет, заглянул в «Якорь», пропустил стаканчик и взлетел в воздух на велосипеде, чтобы быстрее попасть в деревню на низменности. «Ох! это уже слишком! я чувствую, – Мадам схватилась за голову, огромную, как шар земной, – он вернется и объявит, что женится». – «Потерпи, милая», – рассеянно ответил Эжен. «Терпеть? идиот! Прикажешь ждать до осени? Он ведь только вернулся, сейчас

весна. А! Хороша весна! Два градуса ниже ноля в семь вечера. Горе вашим виноградникам!»

48 Сквозь иней, занавесивший окно, Цезарь едва различал неподвижное, грозное озеро; около семи мелкие булавки прошли водную гладь, моросил дождь, холод не давал тучам пролиться на землю. «Виноградники намокнут, и если к утру прояснится...» Десять часов, отметка на градуснике за окном замерла на нуле. «Слышишь, Эжен, не смей мешать мне ночью, из дома ни шагу», – Мадам энергично чистила ногти на кровати-катафалке. Эжен прислушивался: Цезарь ходит по комнате, скрипнула дверь, Цезарь спускается по лестнице. Минус два, минус три градуса. По всей деревне горел свет, мужчины, наполовину одетые, всматривались в ночь; бессильно опускались руки, рыбаки думали вот бы закинуть сети в небо... Но тучи, более проворные, чем рыбы, кишашие в воде, плыли к западу, вот и звезды зажглись. «То дождь, то ясно...» Цезарь спустился во двор, подтяжки хлопали по ногам, заросшим рыжей шерстью. Мертвенно-бледная луна вышла из-за облаков и теперь ярко освещала ступени из молассы. Цезарь поднялся к себе, сел у окна: он видел, как на заре побелело небо и между двух ледников появился преступник, красное солнце. Мужчины выскочили из домов, побежали на виноградники, мяли в руках черные, скукоженные ростки. За обедом Мадам – виноградники! проклятые виноградники! так им и надо – завела разговор о гигиене и архитектуре. *In petto* Мадам недоумевала: знать ее, Ее! и не подражать ей, ведь кроме нее ни одна женщина в округе в десять лье не похожа на возвышавшуюся посреди площади статую, у ног которой играет мужчина в китайской соломенной шляпе, удивительно, почему соседки не восхищаются ее жизнью и не берут с нее при-

мер, им же предложен идеальный образец. Тогда Мадам решила жить незаметно и по собственной воле стала довольствоваться малым. Снисходительно наклоняла огромную, как шар земной, голову, слушая женихов Изабель, уроженца Ури, Догоделу, Пипина и джентльмена-фермера, и разговаривала с обожавшими ее животными, чайками, парящими над висячими голубыми садами за окнами, с лебедями, ковьялявшими за ней вразвалку по берегу, с Беллой в конюшне. Что касается дочерей на выданье, те подступали со всех сторон, как огонь в лесу, который Мадам пыталась затоптать огромной, изуродованной шишками, ступней.

– К счастью, с его женитьбой на Бланш я все тогда уладила.

– Ты? – робко возразил Эжен. – Ты? Ты хочешь сказать Провидение?

– Называй, как угодно. А почему Цезарь, позволь спросить, не пошел на стекольную фабрику, как мы договорились, у него же сегодня экскурсия?

Напрасно леди С., невозмутимая, с полной корзиной оберландских домиков, ждала Цезаря у входа; директор в волнении потирал руки: «Вы его не видели? Симпатичный такой мужчина, рыжий. Куда же он запропастился?» А вечером Цезарь, никого не предупредив, посмел-таки уйти из дома.

Деревенский праздник, распространяя еловый и ацетиленовый запах, кружился в ночи, словно планета. Это было очень далеко от Фредега, в долине, на берегу другого озера. Двухметровый сом, плывший вдоль берега, завидев огни, прошептал: «Надо торопиться, иначе будет слишком поздно». Но рыбак уже закинул сети и на следующий день фотографировался с пойманным сомом, поставив его на хвост. Лошади из края Мелани скакали галопом по плоскогорью, простиравшемуся над долиной,

останавливались, клали длинные деревянные головы на скалы и смотрели на карусели с горящими лампочками. Из Фредега сюда за один вечер не добраться, поэтому Цезарь время от времени поднимался в воздух и крутил педали над полями. «Где дети? – думал он. – Между ними и нами...» Цезарь сел за стол, девушка протиснулась между стеной и лавкой к стойке, заказала лимонад, живые карие глаза, розовая шелковая блузка намочила под мышками. Цезарь заплатил за лимонад. «Если вам угодно», – сказала девушка. Они танцевали, оказалась, что она – служанка у синдика, шаг назад, шаг вперед, нарядные туфли по случаю воскресенья. Трубы смолкли. Несметные племена, окружившие праздник со всех сторон – совы, сплошь перья и тишина, рассеявшиеся парами на ветках, и насекомые, которых не увидишь живьем, только крошечные трупки на окошке Гвен, куда Цезарь на заре приносил розовые и синие камешки – боялись больших огней. «Откуда прибыли, вы ведь не из наших мест? – спросила девушка. – Долго вам добираться обратно?» – «О! Мгновение ока, и я наверху», – уклончиво ответил Цезарь. Он купил девушке нугу, подарил бумажную розу, которую выиграл в тире, и вышел из круга с огнями. Дорога тянулась вдоль озера, где на глубине восьми метров плавал сом с кошачьей головой, и потом от изменности вела вверх к краю вишневых садов. Альфонсина любила гулять воскресными вечерами, Цезарь, чтобы догнать ее, добрую часть пути летел по воздуху, фермеры на вишнях смотрели, как он пронесется мимо, и прижимали к себе ветви, оглушительно шелестевшие листвой. В леске песок ровный, вербы серые и зеленые. Отыскать бы детей здесь, на этом берегу! Между ними и взрослыми, в которых мы превратились, Эженом, корчившим-

ся у Мадам под тапкой, изуродованной шишками и мозолями, Адольфом-лицемером, Зое, притворившейся безумной или действительно сошедшей с ума, и им самим, Цезарем, прятавшимся от людей в темной конюшне, нет ни малейшего сходства. Но дети не умерли, об этом стало бы известно, значит, затаились где-то. Цезарь догонял Альфонсину, провожал ее домой – в каморку, скрытую башенкой с внешней лестницей, по которой недавно спускался господин Сент-Анж в чесучовых брюках и соломенном цилиндре. Напротив стоял дровяной сарай, в комнате вечно воняло сырým деревом и кишмя кишели ухвертки. «Наконец-то ты у меня» – говорила она и выразительно смотрела на Цезаря, высокая, крепкая, с масляными ноздрями. Он вытаскивал из кармана аптечные карамельки со смородиновым вкусом, клал их на ночной столик, она с трудом закрывала ставни зарешеченных окон. Сумрак, тишина, насекомые, числом превосходившие людей, окружали деревню с тринадцатью огнями. «И все-таки откуда ты? Тебя ждет дальняя дорога?» – опять спрашивала она. «Меня? Мгновение ока, и я наверху». Она помогала Цезарю надеть черное узкое пальто, может, он – нотариус? Он уходил, садился на велосипед и иногда взлетал над полями, иначе до зари не успеть во Фредег. Он думал об острове Нетинебудет, где прежде жили дети и шесть одиннадцатилетних братьев, которых они позвали в гости, и Эжен говорил, что женится на маме, когда вырастет. Цезарь смеялся, Альфонсина призналась, что ждет ребенка. Когда Цезарь увидел впереди башню Фредега, Мадам еще спала, а Улисс в зеленой спальне лихорадочно мерил недоразвитую руку. «Я им завтра задам...» Назавтра Мадам, соорудив на голове снежные лестницы, не тающие под апрельским

солнцем, направила свои огромные, изуродованные шишками и мозолями стопы в конюшню; пчелы рассеянно потирали лапки и грузно взлетали в воздух. «Я пришла навестить Беллу. Глядите-ка! Она меня узнала». Белла в ужасе отпрянула, забила копытами по дощатому полу. «Она здороваается со мной. О! животные меня так любят, на днях за мной вдоль берега плыли лебеди. И над башней часто кружит большая птица, вы ее видели, а?.. Ну и где вы были вчера вечером, Цезарь?»

– Полагаю, у меня есть полное право идти туда, куда хочется. В мои-то годы, – с горечью прибавил он.

И повернулся к ней спиной. Мадам пристально смотрела на фетровый котелок, под этот котелок Цезарь аккуратным кружком стриг рыжую шеvellюру.

– Где вы были вчера вечером, Цезарь?

На пороге башни Эжен, дрожа, как осиновый лист, качался с пятки на носок.

– Где вы были вчера вечером?

Цезарь вилами ворочал навоз.

– И в другие вечера? Вас искали на озере. Но «Даная» стояла на причале; где вы были?

В старом узком пальто с бархатным воротником, как у нотариуса!

Цезарь пробормотал в ответ нечто невразумительное.

– Начнем с того, что для уборки навоза имеется слуга. Почему вы все время торчите в конюшне, вместо того, чтобы сидеть с нами в замке?

Заманчивое предложение после стольких лет, у него прямо слюнки потекли. Значит место, где Мадам жила раньше и где у ее ног резвились медицина, гигиена и архитектура, все-таки обыкновенный дом, а не замок? «Я знала, – часто шептала

Мадам. – Все знали», – добавляла она загадочно, вспоминая, как туманным вечером одно весьма крупное юное создание отправилось на бал в тесном фиакре. Отец шагал рядом и держал упакованную в белую кожаную перчатку руку, протянутую из окошка. Не успел несчастный Эжен посвататься, как родители невесты умерли. Отец с волнистой бородкой, опиравшийся на керамический вазон с улитками и опавшими листьями, главное украшение садика, и мать, втайне боявшаяся домашних слуг; впрочем, тогда слуг еще можно было запереть в комнате с решеткой, куда по вечерам они приносили круглый хлеб и клали его на сундук между Псалтырью и стальными часами. Отец с матерью умерли сразу после свадьбы Семирамиды с Эженом, один от апоплексического удара, другая от аппендицита, врач пришел слишком поздно, вынул из жилетного кармана часы-луковицу, приз федерального турнира по стрельбе 1883 года, унаследованную вместе со шкурой белого медведя от отца-золотоискателя. Увы, единственные свидетели детства Мадам умерли.

– Где вы были вчера вечером? – не унималась Мадам. – Вам плохо с нами? Вечно вы то в конюшне пропадаете, то на песке валяетесь. Дурной пример для детей, полагаю.

– Ладно! А если я уйду?

– В Дом Наверху? Вы только что оттуда.

– Нет, куда-нибудь в другое место, я не знаю... мне бы хотелось иметь собственную крышу над головой.

– Правда? И где же?

Да, где? во Фредеге? Или в Доме Наверху? А Эжен как же, а Адольф?

– И детей, – еле слышно выдохнул Цезарь.

– Детей, вам, Цезарь?

Мадам взглянула на него очень внимательно. По некоторым признакам стало ясно, что она вот-вот рассмеется. И она действительно захохотала, стекла в окнах конюшни задрожали, хотя отец Арманда, тоже впоследствии выучившегося на строителя, подогнал рамы очень плотно. Рим с женой вышли из свинарника и закрыли глаза широкими крестьянскими ладонями. Посыльная, лежавшая на кровати в красивом зеленом платье, вздрогнула: окно в ее спальне выпало и разбилось на мелкие осколки. Цезарь поднял вилы, насадил на них Семирамиду, тут же примолкшую и совершенно ошарашенную, крупные белые руки замурованной пленницы глупо свисали по бокам, пока Цезарь нес ее к навозной куче. До чего же тяжелая! Камни у нее в туфлях что ли! «Вот видишь, – ликовала Мадам, раздеваясь перед сном, – больше он никуда не ходит по ночам». Напрасно Альфонсина ждала Цезаря на берегу другого озера. «Я ничего не сказал Альфонсине, – Цезарь снова сидел в глубине конюшни, – ей меня не найти, когда она спрашивала, далеко ли мой дом, я всегда отвечал: «О! мгновение ока, и я наверху...»»

– Все вернулось на круги своя, но эта нерво-трепка рано или поздно меня убьет, – жаловалась Мадам, – у меня слабое здоровье, я на ногах держусь только усилием воли.

Мадам сидела в кресле-канопе очень прямо, потом принялась тихонько раскачиваться, закрыла глаза и притворилась, что засыпает, к большому сожалению жалкого общества книголюбов, которых она принимала тем вечером. Три друга, Битадез, засуетились, на цыпочках покинули гостиную и, сами не ведая, что творят, прошли по тому месту, где раньше была башня, слуги со сплюснутыми лицами глядели на них из зарешеченных окон,

озера оттуда не видно, только иногда в грозу перед железными прутьями летают ошметки пены. Дез встряхнул маленький зонтик на жирную муху, спасшуюся от осенних потоков и зимних снегов в своем ковчеге, на листе граба. Мадам очнулась от притворного сна и со смехом думала о Битадез, трех земляных червях, раз в неделю читавших с ней Расина или мадам де Севинье и иногда державших намекнуть в разговоре на собственное прошлое! Эта Би, к примеру, родилась в деревне, ее тетка заживо сгорела, спиртовая лампа взорвалась и начался пожар, так вот, Би, правая недоразвитая рука прижата к груди, по утрам вставала раньше всех и украдкой варила себе кофе. Все заметили, как потолстела и расцвела калека Би, когда ее сестру разбил паралич.

– Что ты там шуршишь у меня за спиной, – мям-лила парализованная.

– Ничего, – отвечала Би, вытаскивая из шкафа сестрино платье и отряхивая его крошечной ручкой.

– Ну-ка примерь, – предложил свояк, – не стесняйся, ей все равно кроме ночных рубашек больше уже ничего не носить.

Он сунул Би платье, она поднялась к себе, вскарабкалась на стул, чтобы поглядеться в зеркало. Ребенком, затаив дыхание, она, как замороженная, смотрела на мать, и слюна тонкой струйкой текла из кривого рта... Что до Та, он писал книги, скажите на милость! и оплакивал сына, который поднялся на воздушном шаре, приветливо помахал толпе шляпой и сгинул на веки вечные, шар ветром сдуло в Атлантический океан. Мадам вздохнула от скуки и с удвоенной энергией принялась чистить ногти. Изабель... Ночь была кромешная, новый жених напрасно стучал в ворота башни. Цезарь,

облокотясь о перила балкона, прикидывал, можно ли с помощью хорошей подзорной трубы выследить детей на озере. Солнце оставило на западе красный отблеск, не отличить от света занимающейся зари, земля скоро остановится, повернет в обратную сторону, все сбросят старую кожу, Эжен не женится на Мадам. Битадез скрылись из вида, Мадам вышла на балкон, плывший на фоне волн. Цезарь успел улизнуть из дома и бродил вокруг конюшни, там, в сердце поместья горит огонь, потрескивает солома, рассыпаются темные искры, и навозные лепешки растекаются на кострище с тихим журчанием, что слышится порой, когда в камине жгут дрова. Цезарь издали заметил мальчика-слугу, тот, опершись о каменный наличник, вдыхал неподвижный воздух свободного вечера. Изабель все не решалась закончить последний уголок филейного вязания, Пипин Короткий выгуливал мать в желтом чепце на улицах Руана, а уроженец Ури делал запасы макарон и зубных щеток в квартирке, где одна комната была всегда заперта на ключ. В претендентах на руку Изабель еще значились джентльмен-фермер и несчастный сын Йедерманна. Джентльмен-фермер – долгими зимними вечерами он листал старый альманах «Вермо», щелкая хлыстом о голенище сапога – как раз шел, ах, какие упругие ягодицы, по гравию террасы мимо беседки, где дети часто видели сидевшую за вышиванием горлицу. Мадам у окна башни изучала горизонт, огромная птица камнем упала в воду. Родителям джентльмена-фермера пришлось спешно покинуть германский форпост, эльзасская пушка погнала их на юг. Сели в поезд, заняли целый вагон. Дети с мягкими защитными повязками на лбу то и дело падали из-за свинцового грузика, который есть в голове у всех

маленьких детей, и бонны в широких, как у мясников, фартуках без конца поднимали своих подопечных. Садовник, сойдя с поезда, сразу оглох. На берегу озера они увидели красивый светло-зеленый дом с фронтоном в стиле ампир, розарий и маленький причал. «Let's buy it», – велел отец, мешки под глазами, танцовщица на содержании. Мать семейства никак не могла забраться в лодку, когда князь Бирон Гонто прибыл к ним с визитом. Стоя на крошечной пристани, он посасывал трость с золотым набалдашником, протянул ей руку, кстати, она, как поговаривали, была всего на всего дочерью молочника в Бадене, замуж шла, «Let's buy it», смиренно вздыхая, уже беременная. «Ну, господа, приятного аппетита», – весело кричала она и хлопала в ладоши, созывая гостей к столу. Клубника со сливками. «O! it's a treat», – прошептал князь Бирон Гонто, скучавший по трости с золотым набалдашником, трость с тысячью предосторожностей поместили в углу прихожей, но ее уже оседлал один из отпрысков в мягкой набивной диадеме. Что это задумал князь? Он требует соль. Но, князь, у нас десерт! Ну да!.. Поэтому старший сын базельца, джентльмен-фермер, в гостях у Мадам ел яблоко с солью. Изабель полюбила его сразу, как только увидела на террасе, посыпанной гравием, и, к сожалению, слишком поздно, только когда он принялся посасывать золотой набалдашник трости, заметила его испорченные зубы. «У моего деверя, брата мужа, – Мадам кивнула на Эжена, – большая коневодческая ферма, приданое жены. Осенью они там охотятся». – «Неужели, Мадам?» – спросил с досадой Джемс, тщетно пытавшийся нащупать кусочек птифура, упавший на кресло. Посыльная в зеленом платье пошла за птифурами в соседний городок берегом тихо вздыхавшего

озера. «Булавки с золотыми головками, – кричали ей вслед, – папильотки, анисовые булочки к чаю», – и на пальцах показывали сколько; из кармашка зеленой юбки с тысячью складок выглядывал белый платок, благодаря которому ночью – немая земля превратилась в луну, таинственный огонь тускло горел на горизонте – Арманд, высунувшись из окна, увидел, как посыльная ушла из их дома, а потом вернулась за пеленками и крестильной рубашечкой мертвого младенца. Джентльмен-фермер в гостях у Мадам ел яблоко с солью. Мадам взяла солонку и, изящно отставив в сторону мизинец, высыпала соль на краешек тарелки. О! мы дома всегда ели яблоки с солью, но с тех пор, как я живу здесь среди деревенщин, я не могу себе этого позволить. И она опять часами не спускала взгляда своих королевских глаз с несчастного, истаявшего Эжена. Джентльмен-фермер, съев соленое яблоко, быстро вытер рыжеватые усы.

– А ваше поле, – поинтересовался он, – треугольное поле, что отделяет нас от озера со стороны Герр... Я заплатил бы за него приличную сумму, *a substantial price*.

– Это предлог, – решила Изабель. – Он точно имеет на меня виды. Когда мужчина заговаривает с вами о полях...

– Деньги прокляты! ох! деньги – прокляты! – вдруг заявила Мадам, выдергивая вязальную спицу из сального шиньона. Авраам вышел из беседки, где все пили кофе, залез на башню и встал у окна, веса в нем было не больше, чем в одной из тех крупных бабочек, которые садятся летом после полудня на занавеску с цветами, крылья из тонкой бумаги трепещут в сумраке комнаты под защитой каменных стен. Цезарь, прятавшийся в конюшне, поднял глаза и увидел высунувшегося из окна

племянника, пересек сад и, прячась за кустами, проскользнул в башню. Джентльмен-фермер в тот момент давал разъяснения насчет графа де Гиза: «Ни в коем случае нельзя произносить «Гиз», только «Гю-из», так принято в семье», – небрежно прибавил он, вытащил часы и, пробормотав: «Time is money», – потрусил к воротам по дорожке, посыпанной гравием.

– Цезарь! – крикнула разъяренная Мадам. – Пока мы тут мило беседовали (наконец-то, гость, достойный меня), он снова улизнул. Бог знает, где он теперь! Цезарь! Цезарь! Бог знает, чем он занимался все лето, то на берегу лежит – а разве у меня есть время разлеживаться на берегу? – то, не сказав ни слова, исчезает на всю ночь – и в упор меня не видит.

– А мсье Эжен отдыхает, прогуливается между бочками, виноградари курят ему фимиам, потому что мсье в урожай отливает им два литра на человека, а не один, как другие хозяева, а в это время...

– Но, милая...

– Замолчи. Ты ничего не знаешь о своем брате. Куда он уходит по вечерам, когда мы все собираемся в беседе?

Он уходит, закрывает ворота конюшни, а лошадь, ожидая овес, нетерпеливо топчется на соломенной подстилке. Отпирает калитку, идет по улице, стены ее домов древние волны переделали по собственному усмотрению, и отворачивается, чтобы не видеть кустик папоротника.

– Что мне теперь родного брата сторожить? – смело возразил Эжен, вычищая перочинным ножиком грязь из-под ногтей; золотая цепочка от часов перечеркивала белый жилет.

– Где он, где Цезарь? – шепчет Семирамида в беседе.

Ей кажется, что шепчет, ее слышно и у башни Фредега, и на площади возле башни с часами, до земель, неотделенных от воды, на краю которых трепещутся в сетях создания третьего дня.

– Как ты думаешь, он у инженера? Или у Тома, почтальона? Или у виноторговца? У них у всех дочери.

– Ну, надо же, в конце концов, – отвечает Эжен, – отдать Цезарю его долю.

60 – Его долю? Разве он не проел свою долю? Сколько лет уже обедает за нашим столом и спит на наших простынях! Пойду, спрошу Римов, может, они его видели.

– Ладно, милая.

Бедный кузен стоял на пороге своего дома, бывшего свинарника. Когда Рим, подбоченившись, размышлял о судьбе своих изобретений и, в отчаянии вопрошая: «О, почему у нас нет конкурса Лепин?!» – поворачивался к миру спиной, с обеих сторон головы забавно торчали кончики рыжих усов. Бедный Рим! Однажды у него возникла идея развезить в грузовиках по окопам воду из озера. Он купил большой участок на севере деревни – женится ли он на Изабель? – и три года войны ждал, пока низкорослый, круглоголовый столяр доделает письменный стол с инкрустацией золотом и слоновой костью. Столяр оставил других клиентов, перенес детали в будущий кабинет Рима и собирал стол на месте, но не успел вбить последний гвоздик, как появился нотариус. По центральной аллее, промокая платком лоб и пиная саженцы тополей и буков, нотариус прошел к дому и объявил: «Войне конец, увозите ваши бутылки и ведра». Рим считал, что в хозяйстве все может пригодиться. Например, ваза, выловленная в озере, рыбаки сначала хотели отнести ее в замок с одной башней, вторую Ар-

манд сравнивал с землей на следующую ночь после смерти горлицы. Он все подряд прибирал к рукам, этот Рим. И ведро от ленцбургского конфитюра, из которого сеятель в марте зачерпывал зерна, и ковши из лодок. Он даже мраморную ванну умудрился втащить в кузов грузовика. До разорения времени не хватало ее установить, Эдит, жена Рима, держала зимой в ванне свои горшки с геранью, герань, терпкий запах, бархатистые листочки, горлица рвала их, чтобы унять кровь, когда мы ранились, свистя в травинку с острыми краями. Письменный стол, инкрустированный золотом и слоновой костью, никак не хотел пролезать в дверь, его порубили топором, а обломки бросили под забором, Рим уехал, оплакивая свое построенное на воде поместье. Недавно он отплыл подальше от берега в большой лодке с красными парусами, мимо в утреннем тумане скользил рыбацкий челн с детьми. «Цезарь», – ни секунды не медля, позвал добрый Рим, зная, что Цезарь уже давно ищет детей. С тех пор никто не видел Рима, неподвижно со спущенными парусами лежит его лодка на дне и дышит чистой водой озерных глубин, напоминая бабочку, которую ветер, то затихая, то дуя с новой силой, сорвал с лепестков розы. Слеза бедного Рима упала на землю виноградников, позже здесь выросла стекольная фабрика. Это было сразу после перемирия, солдаты теперь пили воду из уличных фонтанчиков или на кухне из-под крана. Мадам, высматривая с башни посольского атташе, маловероятно, что он придет, но вдруг... увидела приближающийся к замку грузовик с тарой для воды и кузена Рима с пристегнутым на груди золотым ведерочком, которое Лиоте подарил ему на банкете. Во Фредеге, если считать кладовку без окон на втором этаже – дети заперлись там

после смерти горлицы и нацарапали на стенах свои имена – пятнадцать комнат. Но почему бы не поселить бедных родственников в свинарнике за садом. «Приведите в порядок туфли, Эдит, – презрительно поморщилась Мадам. – Сапожная мастерская под башней с часами. Как вы вообще выходите из дома со стоптанными каблуками? Вот я всегда...» Она приподняла черную юбку и показала – кто бы мог подумать? – что у города под каменным платьем две массивные черные туфли с трещинами для большего правдоподобия. Эдит – сапожник попросит два франка, все, что есть в ее потертом портмоне – проходя мимо кондитерской, отвернулась; Эдит, парик, низкий глухой голос, лиф блузки заколот иголкой с черной ниткой. «Ваши каблуки! Какой пример вы подаете слугам! А жителям деревни!» Эдит давно не отправляла в Америку письма любимой сестре, марки не на что было купить. Рим прицепил золотое ведерочко, подарок Лиоте, над камином из искусственного мрамора. «Вам повезло, здесь камин. Дымит? Оставьте дверь открытой. И чудный вид на грядки! Жаль, но скоро я попрошу вас освободить комнату, весной вернется мой деверь Цезарь... И, кстати, Эдит, я бы просила вас отказаться от привычки читать в кровати по вечерам... Нет, нет, не надо спускаться в гостиную, когда у меня гости, это совершенно необязательно».

«После вас, Эдит», – вежливо сказала Мадам, когда они столкнулись у садовой калитки, на лестнице Эдит все время чувствовала ужасный невыносимый взгляд, Мадам пристально смотрела на ее каблуки, пока поднималась по ступеням из молассы, протоптанным бывшими обитателями и обгаренным кровью молодой покойницы. «Я не понимаю, – с расстановкой произнесла Мадам, – как можно *жить* со стоптанными каблуками». Рим в широкополой

шляпе виноградаря, ничего вокруг не замечая, поднимался следом, в его голове постоянно рождались маленькие открытия, но что с ними делать, вот вопрос. К примеру, распределитель для бумаг: все очень просто, папки втыкаются в огромную резиновую губку. И что же! Никому это не интересно, даже кузену Тома, который каждое утро натягивает люстриновые рукава в конторе. Ах! если бы у нас был конкурс Лепин!

«Как мне грустно, забирать у вас эту прекрасную комнату, – призналась Мадам, – Но мой деверь Цезарь скоро вернется из Дома Наверху. О! нет, комната не его, конечно, но находится с таким мерзавцем под одной крышей... Ох! Цезарь – мой крест. Вы, наверное, думаете, моя жизнь – сплошная идиллия, ведь у меня есть замок». Она невольно рассмехалась, обнажив свои зубы водолаза в скафандре. Она смеялась два, изредка три раза в год, в день весеннего равноденствия и зимнего солнцестояния. В деревне тогда дрожали окна, у посыльной стекла брызнули осколками на дорогу к подножью домов, наклонившихся под ударами древних волн. А Гвен вставала, голые ножки, золотистый локон на плече, и искала на ощупь в предутренних сумерках озерные цветы, которые Цезарь клал на ее подоконник. «Ну, пойдете посмотрим свинарник – предложила Мадам, – по-моему, очень симпатично». Арманд, сын Арманды пошел по его стопам, знал свое дело, и курятники, и конюшни, и сарайчики для поросят строил на века. «У вас там маленькая печка, труба выходит прямо через дыру в стене, место немного топкое, не успевает просохнуть даже в погожие дни. Ах! Вам так повезло! Это же настоящее маленькое поместье. И потом, здесь вы будете чувствовать себя гораздо свободнее, чем в замке». Тут она чихнула, последние несчастные окна соседних домов

разлетелись вдребезги. Стекольщик, услышав звон, незамедлительно прибыл из города, по дороге столкнулся с посыльной, та шла вдоль озера ему навстречу; сборщики винограда не видели, вернулась она обратно или нет, на виноградниках ведь ни наступления ночи, ни прихода зимы не застанешь. Стекольщик поставил прозрачную ношу под ивами, где письменный стол Рима медленно возвращался в растительное состояние. Бедная Эдит хотела окольным путем пройти на огород за травкой для супа, но все дороги от свинарника вели к беседке с высоким фундаментом, где Семирамида, свесив по бокам крупные белые руки замурованной пленницы, цедила: «Ваши каблукы, Эдит!» К счастью, мать Эдит не дожила до этого дня; отец, впрочем, тоже, он упал с высоты, натягивая канат для бродячих артистов. Под беседкой Семирамиды имелся подвальчик для хранения летних игрушек, в самом дальнем его углу скошенный потолок так низко спускался к каменному полу, что дети не могли выпрямиться в полный рост и стояли, пригнув голубиные шейки к плечу, одна только королева Зое, счастливица, сидела на складном стуле с зеленой бархатной подушечкой.

«Где Цезарь? Вы его видели? Он только что пил с нами чай в беседке! О! Хорошо, что вы остались у себя, вам совершенно не обязательно выходить к моим гостям».

Цезарь прокрался на башню и встал за спиной Авраама, высунувшегося из окна. «Что ты делаешь, Авраам? Ты слишком сильно наклонился, будь осторожней». На просторах рыжей черепичной крыши с двумя скатами, соединенными коньком, трепетал на ветру кустик папоротника. «Будь осторожней, Авраам, еще шаг, и ты вывалишься. Говорят, люди теряют сознание, не долетев до земли».

Авраам слышал тяжелое дыхание Цезаря у себя за спиной и шепот Семирамиды в беседке: «Где? у почтальона, у евангелиста?..» Дядя с племянником разглядывали сверху прическу Мадам: сложная конструкция каждое утро заново возводится с помощью толстых, как вилы, шпилек. Эдит вышла из свинарника, и хотя стоптанные каблуки были залеплены грязью, Мадам крикнула: «Эдит, ваши туфли! И что за походка!» – задрала подол юбки и заковыляла по-утиному, переваливаясь с ноги на ногу; лебеди у кромки воды вскинули головы, захлопали неуклюжими мощными крыльями, только перышки полетели на песок, и отплыли от берега, скорее, прочь от замка. Аврааму и Цезарю с высоты казалось, что Эдит вместе со своими каблуками погрузилась в рыхлую почву на огороде, что все бассеты, голуби и куры прижаты к земле воздушными столпами, из окон башни особенно хорошо видно, как эти столпы, соединяющие живых существ с небом, вибрируют в солнечном свете. «Где Цезарь? он вам не попадался? Я всегда волнуюсь, если вечером Цезаря нет дома, он же сущий ребенок, любая девица вскружит ему голову».

Белка поскакала вниз по явору. Рим поднял глаза и заметил за плечом Авраама рыжую шевелюру.

«Твоя мать, – нашептывала рыжая шевелюра, – о! она пока помалкивает, но ты никогда не поедешь за границу учиться игре на флейте. Улисс! Бедный Улисс! На что он годится? Только ящички с виноградом считать. А сколько тех ящичков с нынешними урожаями... Ты будешь управлять помещением, Авраам, ты! С утра до ночи виноградники, град, заморозки, опадение завязи, филлоксера. Ах! в нашем детстве все было иначе. И знаешь, Авраам, мы частенько лазили на крышу за мхом или папоротником. Высунись из окна, Авраам, видишь,

вон жених Изабель идет по берегу». Джентльмен-фермер, похоже, все глубже увязал в песке, каждый шаг давался ему с огромным трудом, и бормотал: «My God, I shall not die».

– Где Цезарь? Отвечайте!

И тогда Рим, сам не зная почему, возможно, рассчитывая наладить отношения с Мадам? (не помогло), кивнул подбородком, как маленький мерзкий предатель Фольконе однажды, на Цезаря и Авраама, стоявших у окна башни.

– Ты видишь! – крикнула Мадам Эжену, трепетавшему от страха. – Видишь, он вовсе не у евангелиста и не у почтальона! Что за глупость! Я и не сомневалась. Он на башне со своим любимым племянником Авраамом! О! он обожает племянников, этого у него не отнимешь.

Она протянула к Цезарю и Аврааму тяжелую руку пленницы, сплюнула на гравий и из соображений гигиены раздавила плевком ногой, изуродованной мозолями и шишками. Какой бы из нее получился врач! У Римов больше делать было нечего, и Мадам направилась к замку. «Цезарь – мой крест! Сейчас он на башне, а вечером?! Ах! если бы меня предупредили раньше...» Когда фиакр катил сквозь туман, и старик, которому не хватило места рядом с дочерью в слишком пышном платье, шагал рядом по заснеженному тротуару. «Замолчи, Эжен. Задумайся хоть раз в жизни: если Цезарь опять женится?! и потребует свою долю? Где ее взять? У нас ни одного сантима наличными. У Адольфа тоже. Хотя, между нами говоря, у Адольфа детей нет... Брать ипотеку? Подо что? И как выдать за муж Изабель?» – «Он охотно бы на мне женился, но я не захотела», – говорила Изабель о помощнике директора стекольной фабрики. Вокруг этой псевдо-церкви, горящей огнями день и ночь, все

виноградники были выжжены. «Почему бы ему не устроиться на стекольную фабрику? Ах! ну, конечно, не бутылки выдувать. Он мог бы, например, водить экскурсии. Прекрасное занятие, по-моему!»

«Крутит ли он шашни?» – гадали слуги со сплюснутыми лицами, глядя в окно, прорубленное в стене, накренившейся под ударами древних волн, на Цезаря, которому пришлось спуститься с башни после доноса Рима. Впрочем, Рим, сидя во дворе свинарника, уже жалел о своем поступке; окровавленный Авраам у подножья башни, Цезарь, мерзавец, скинул его вниз – ну да, это событие хоть немного скрасило бы здешнюю жизнь, увы! слишком монотонную и безрадостную. Медленно подступала ночь, в сумерках мерцал воздушный столп, нисходящий на голову каждого существа, каждого голубя, на небе светилась деревня-близнец. «Есть ли у Цезаря девица?» – спрашивали друг друга слуги. Может, Элси? Элси носила черное шелковое платье с порыжевшими подмышками и высокие лаковые каблуки. «Куда идет Цезарь? Куда идет твой брат?» – Мадам топала тяжелыми каменными ногами. «Я ему что, сторож?» Вдруг Эжен вздрогнул и застонал: Мадам пронзила Эжена взглядом; в последнее время она часто использовала этот прием, а вы идите, пожалуйста, по своим делам, управляйте помещьем, половины которого вы не сегодня-завтра лишитесь, проверяйте сети, отдавайте распоряжения сборщикам винограда, со стрелой в шее! Волны бились о берег, издали глядя на накренившиеся стены и вспоминая вкус плесени на старых камнях. Цезарь вошел в пивную. Элси подскакивала к столикам, пьяные посетители тянули к ней руки, пытались поймать, но она ловко увертывалась, летела через горячие обручи, иногда теряя тую, или присаживалась на секунду прямо

на стол к гостям, круглая грудь слегка касалась фиолетовых ушей, подступали холода, во дворе уже висел заяц с окровавленной мордой. Вино завезли в погреба, огни деревенской гостиницы отражались в асфальте.

68 «Но почему, Боже правый, он не уходит в Дом Наверху? Работы на виноградниках почти закончены. Что с нынешним урожаем неудивительно!» – «Не нервнуй его, милая, прошу тебя». – «Правда, днем он сидел в комнате у Авраама. О! он обожает моих детей, в этом ему не откажешь. Я уже устала повторять тебе: «сходи в конюшню, сходи в конюшню», он там один целыми днями, Бог весть, о чем думает».

Эжен натянул подтяжки, сунул ноги со вздутыми синими венами в тапки, которые Изабель украсила вышивкой еще до того, как мать Пипина научила ее филейному вязанию.

– И ты забыл, готова спорить, что следующий год – високосный, инженер планирует открыть Понт-дэ-Машин. И потом он еще раз вернется, уже с дочерью, и будет инспектировать берег на своем корабле. Господи, еще одна незамужняя дочь!

Мадам прилегла на кровать-катафалк и энергично чистила ногти.

– Цезарь сейчас или в пивной с той девицей, или на ярмарке с бабенкой из тира. Да хоть та, хоть другая, хоть племянница почтальона или дочка инженера... Прошу тебя, замолчи. В первый раз нам повезло, но молодых жен не всегда давят в свадебном путешествии. О! это слишком, – вдруг воскликнула она, потрясая руками-колбасами, обтянутыми узкими рукавами ночной рубашки с фестонами на запястьях, – отец меня предупреждал...

Старик шагал рядом с фиакром, держа в своей руке тяжелую руку замурованной пленницы, протя-

нутую из окошка, белую перчатку, набитую сырым песком; мало-помалу приближаясь к отцу Мадам, мы все отчетливей видим его черты.

– Знаешь, что тебе надо сделать? Одеться, пойти на ярмарку или в пивную и привести Цезаря домой. Но нет, мсье спокойно чистит зубы.

Если бы Эжен уже не надел пижаму, он бы с радостью воспользовался разрешением и побежал в пивную! Поговорить о политике, об истории. Кое-кто из деревенских жителей приподнимался со стула, когда он входил. Мсье из Замка.

69

– Ты представляешь в нашей семье бабенку из тира?

Глаза у бабенки, как у лебедя, располагались по бокам приплюснутой головы, она заряжала карабин и смотрела вдаль, где песочные ведра загребали людей на огромное колесо, где кружилась карусель, крошечный мирок прошлого, и свет ее огней доходил до самого неба. Цезарь, в тот вечер вместо разноцветного шнура он надел бежевый в белую полоску галстук с картонной подкладкой, прицелился, выстрелил, выиграл розу, которую, повесив тяжелое ружье на колыхавшуюся от вечернего жорана каменную стену, нарисованную на брезенте, ему прикололи к лацкану пиджака, глядя вдаль лебедиными глазами. Обернувшись, Цезарь увидел кулачных борцов и глотателей огня, а за их спинами невесту Тома в черной бархатной пелерине, в длинном платье, скрывавшем изуродованные шишками и мозолями ступни; пришитые к плечам ватные руки висели вдоль туловища. Тетка невесты, нотариус, дровосек Тома, Смерть получили мягкие пули из фиолетового бархата точно в лицо; только создатель слышал приглушенные крики, когда они падали навзничь головой о перекладину, поддерживающую брезентовую

стену. Хорошо бы узнать, руки у невесты такие же тяжелые и холодные, как рука, протянутая из фиакра старику, шагавшему по тротуару. «Горе тебе! бедный Тома! – думал Цезарь, – если это она! стоит рядом с тобой, как пригвожденная». В пивную не пойдешь, не побеседуешь о политике с деревенскими жителями. С чего это вообще бедный Тома оказался в пивной? Да нелегко ему приходится, живет один в лесу в хижине далеко от деревни, не с кем словом перемолвиться, разве иногда встретится аптекарь-грибник, стальной лорнет болтается на цепочке. Цезарь взял пулю и выстрелил невесте прямо в лицо, второй раз, третий, десятый. Она падала, поднималась, стояла неподвижно в черной бархатной пелерине, от которой веяло ледяным сквозняком, и тарасилась на Цезаря. Над ярмарочной площадью кружился огромный клоун в сверкающих шароварах. Через час Цезарь смотрел на него уже из окна Фредега. На следующий день, на ходу дочищая ногти, Мадам спустилась к обеду. Зеленое платье скрывало изуродованные шишками ступни, пришитые руки висели вдоль туловища. Рыбаки только что вытащили сетями римскую вазу, но не решались нести ее в замок с одной башней, кто-то предложил отдать вазу музейному хранителю, занимавшему одну из пристроек Фредега. Деревенские дети, расплющив носы об оконные стекла, наблюдали, как он, трясясь от бешенства, пытался работать в тот день, когда Арманд рушил башню. Музейный хранитель, как и Эжен, носил лорнет и целлулоидный воротничок, и у него, как и у инженера, была дочь. Когда-то у всех отцов были дочери, а теперь их нет! В сущности Мадам зря боится молодых покойниц.

Эжени, дочь музейного хранителя, жила в домике рядом со стекольной фабрикой, у садовой

калитки торчал огромный синий крест, в траве прятался гном с красным носом.

– Вот в кого вы превратитесь, если будете пить, – говорила Эжени виноделу, неуклюже танцующему в чане с виноградом, две георгины на кожаном картузе. «Вот в кого превращаются люди, которые ходят по кафе», – пугала она детей, глазевших на гнома. Дети могли бы еще долго стоять в садике Эжени, держась за руки, если бы матери, накрыв фартуком голову – дождь поливает над стекольной фабрикой, над тиром, над Свадьбой бедного Тома – не прибежали и не увели их. Эжени протирала тряпочкой гипсового гуся натуральной величины, красовавшегося у фонтанчика. Хранитель музея привез гуся под мышкой домой из Германии – где-то между Гейдельбергом и Штутгартом обменял на него лошадь. Теперь лошадь в утреннем тумане возит юнкера на завод, только искры из-под копыт летят, песок золотится, словно в яркий солнечный день, парусники скользят у самого берега, Пипин Короткий плывет по каналу. Эжени, конечно, не красавица, вот Гвен...

71

– Ну, ты же видишь, Цезарь, я навожу порядок в папином саду.

– Эжени... если бы я получил свою долю...

– То что бы ты сделал, Цезарь?

– Я бы остался во Фредеге. И настала бы их очередь искать пятый угол. Полгода здесь, полгода там. А что? сыты, крыша над головой, свет и стирка бесплатно, расходы только на пенсионную страховку. Нет, они еще могли бы переехать в свиарник вместо Римов...

– Но я думала...Мадам говорила... ты не хочешь устроиться на стекольную фабрику? Не снять ли тебе симпатичную квартирку в доме на другой стороне железной дороги, который построили для работников?

Эжени закончила мыть гуся. Обернулась: «Цезарь! Цезарь! Куда же ты?»

72 «А если мне больше нравится лежать на песке, чем водить по стекольной фабрике кузин из Франш-Конте, – думал Цезарь на берегу озера. – Их перевозят сюда в деревянных вагонах, как коров». Кузины издалека наблюдали, как над деревьями плывет верхушка башни, закрывает и открывает белые глаза. «Но я не знаю, уверяю вас, где его носит, – оправдывался директор – может, вы его не заметили? рыжеволосый мужчина приятной наружности? Его невестка, дама из замка, обещала, что он придет сегодня». Директор грыз ногти, пока леди С., в руках большая матерчатая сумка с медведями и шале, невозмутимо ждала начала экскурсии. Под вогнутым для живых (выпуклым для мертвых) небом вращалась земля; озеро послушно поворачивалось вместе с ней и лизало пальцы Цезаря, растянувшегося на границе между сушей и водой. «Хоть бы его смыло волной, – думала Мадам у окна, – хоть бы инженер закрыл Понт-дэ-Машин, и вода хлынула бы на берег, пока Цезарь спит». Инженер, крупная голова, черные усы, орлиный нос, теребил ключик, висевший на цепочке для часов вместе со звездой и синим эмалевым месяцем. Из-за своего удивительного сходства с Полишинелем инженер боялся прислоняться к стенам, кто-нибудь вполне мог дернуть за веревочку, и болтаться ему на гвозде, протянув ручки и ножки. «Слезай, – кричала бы его жена, бигуди торчком, – спустишься ты или нет, идиот!»

Понт-дэ-Машин был возведен на средства прибрежных жителей, в том числе на сбережения Цезаря и на деньги, припрятанные в кубышку тетушкой Жанной. Вставная челюсть плавала в воде при лунном свете, Жанна умирала под льняными

занавесками в цветах, обшитыми по кайме гирляндой белых вишен из хлопка, которые в агонии она жадно срывала. Пятнадцатого октября Полишинель открыл плотину, большие воды устремились на берег, вот кого прятало августовское озеро полное молний: огромных в белой пене животных, отступая, они утащили с собой легкие розовые и синие камешки, которые Цезарь когда-то клал на окно Гвен. Мало-помалу личико Гвен и золотистый завиток, цветущий на плече, выплывали из тумана. Едва инженер открыл плотину, озеро у берегов Фредега всколыхнулось, раскачало рыбацкий челн с детьми. На расширившейся песчаной полосе осталась римская ваза, которую рыбаки принесли в замок – правда непонятно зачем? – молодая покойница уже давно его покинула, ступая по белым розам, упавшим накануне с гроба. Каждый високосный год инженер приезжал во Фредег, навещал прибрежных жителей, инспектировал пристани и берег, к больной пояснице Полишинеля была привязана кошачья шкурка, лапки свисали на холодную зернистую задницу. Инженер на минутку привалился многострадальной спиной к теплой стене Фредега, где рос кустик папоротника, где в день весеннего равноденствия останавливаются и играют одноножки и китайские шляпки, перевел дух и заторопился по делам. На этот раз ему удалось избежать опасности. Он стоял прямо под окном башни, и Мадам запросто могла бы дернуть за веревочки и раскатисто захохотать, на ее смех прибежала бы жена... «Нет. Мсье Цезарь не получит мою дочь Амели. Во-первых, где они будут жить? Во Фредеге? В Доме Наверху?» Инженер ушел, качая головой и что-то бормоча вполголоса, он держался середины улицы подальше от выступающих балок чердаков, куда поднимали на хранение

хворост. Мадам, как всегда, загораживала злополучную амбразуру с видом на озеро, а Эжен за ее спиной качался с пятки на носок и вытягивал шею, пытаясь разглядеть парусник. «Бог знает, что Цезарь выкинет на сей раз, теперь вот инженер со своей дочкой... Помнишь, четыре года назад? Ох! – вскрикнула она, – я чувствую, он скоро опять женится. Ох! Я-то никогда не ошибаюсь. Вон она, тут как тут, плывет с отцом в доме-корабле». Легкая волна вынесла на берег озерный цветок, невесомый камешек, ему придется дожидаться ноябрьских гроз, чтобы догнать братьев, потому что песчаная полоса становится все шире и шире; сын Йедермана, как обычно, в високосный год готовился прибыть во Фредег с противоположной стороны залива. А в последний погожий день года в замок по берегу пришел еще и виноторговец. Цезарь поднял голову. Черное двубортное приталенное пальто с бархатным воротником. А дочь торговца? статная, красивая, в прошлом году Цезарь пригласил ее на деревенский праздник, турнир по стрельбе из лука. «О, Господи, опять эта свадьба нависла над нашими головами, пусть уж раз и навсегда все решится. Пусть женится на той или на другой, я умываю руки. Мне надоело развлекать его разговорами в гостиной, навещать его в конюшне – ах, Белла обожает, когда я прихожу – чернить его перед отцами невест». Мадам спустилась в гостиную, беседовала с отцами, не сводя с них пристального взгляда, всплескивала крупными белыми руками замурованной пленницы. «Я могла бы выйти замуж за городского врача... О! что я говорю, за врача! За синдика, за мэра! И теперь это ничтожество, этот бездельник с рыжими, как морковка, волосами выгонит нас вон? Ну, нет, какая же я глупая (глупая? я?!), он обожает племянников и не допустит,

чтобы они скитались по дорогам». Виноторговец, весь в черном, огромная бледная голова прилажена к несоразмерно маленькому телу, уселся напротив Мадам и начал рассказывать о дочери, которая должна скоро вернуться из пансиона, Мадам нетерпеливо вздыхала и с остервенением чистила ногти. Торговец жил в городе, в желтом, без отделки доме, вокруг пустырь, ни деревьев, ни ограды; в октябре дом продували ветра, изгонявшие кабинетный дух и наполнявшие комнаты запахом прелых листьев. Выложив на стол первый взнос за вино, торговец поспешно откланялся, Мадам успела насквозь просверлить его тяжелым взглядом. Он сумел выбраться на улицу, дома угрожающе сдвинулись, толкаясь чанами, до краев полными вина. Не дай бог, если однажды летом дома вступят в сговор с деревьями! Но в нашем климате лето слишком короткое. «Ушел, наконец-то. Слава Богу, в этот раз дочь с собой не притащил». За маленькую партию торговец заплатил золотом. Улисс, кривобокий, возделывал свой садик, Семирамида в задумчивости стояла на балконе, зажав монеты в сильной белой руке. И вдруг принялась кидать монеты в огород. «Вот, – кричала она, – семь золотых монет! Давай, давай, Улисс, собирай! Одна в ревете, вторая в петрушке, две возле розового мака». Улисс, приволакивая скрюченную ногу, с трудом подбирал золото. «Ищи в ревете!» И хотя голова у Мадам была огромная, как шар земной, она так никогда и не вспомнила, куда упала седьмая монета. После визита джентльмена-фермера Изабель бросила в камин оставшиеся образцы филейного вязания. Тем временем в замке – старый тенистый сад, открывающийся перед ним, спускается к самому озеру – замаячил новый претендент, юный студент-теолог с поникшей головой и тяжелым

портфелем вместо агнца. Из сада доносился смех гостей, богатый торговец сидел за столом рядом с молодой и красивой любовницей – «что за женщина рядом с ним, в рыжем парике и пористыми, словно апельсиновая кожура, щеками?» – думали остальные. В глубине сада чей-то громкий голос звал: «Йедерман!» – страшные деревья наклонялись друг к другу и совещались, шумя листвой, как обычно дивным, но слишком коротким для заключения заговора против людей летом. Торговец поднял руку, обтянутую сукном цвета темно-синей ночи греховных удовольствий, подал знак оркестру, шестью мужчин в белых пиджаках, улыбаясь во весь рот, одновременно поднялись со своих мест, словно собрались справить малую нужду; несчастный святой Иоанн отвернулся. Девственная лоза уже тянула нежные пальцы к Цезарю, неподвижно лежащему на берегу, стол и поднимавшийся над ним до самого небосвода столп света были видны издалека. Цезарю все же удалось уйти от гостей по оголенному песчаному берегу. Деревенские жители оплатили строительство Понт-дэ-Машин, теперь осенью вода перестанет заливать пресс для винограда, дети не будут играть в акробатов на мостиках-дощечках, перекинутых с одной бочки на другую, девицы Цезаря, женихи Изабель придут во Фредег по неотделенной от воды земле, брошенной Создателем на произвол судьбы. Мадам, еще более надменная, чем обычно, ела яблоки исключительно с солью, теперь в хозяйстве соли требовалось очень много! Посыльная спешила в город; сбор винограда закончился, громадные ворота, через которые ввозили вино, закрыли, Цезарь опять отправился в Дом Наверху, остановился на повороте – оттуда еще видно кусочек крыши Фредега, бескрайней черепичной прерии, расцвеченной мхом и папоротником, отец,

волосы, растрепавшиеся на ветру, топтал их ботинком с резиновой подошвой, когда шел громить башню, с которой упала горлица. За черепичными прериями до подножья гор разливается серое озеро, невесомые розовые и синие камешки ворочаются в его глубинах, а когда наступает очередь металлов выходить на поверхность, озеро становится свинцовым. Прощай, виноградная лоза, королева всех растений, прощай голая земля в волютах и ракушках, взрыхленная, пронизанная воздухом, фосфором и молнией. Земля, земля!

77

В конце аллеи у Дома Наверху Цезаря ждала Мелани; в ее краях тоже было озеро, но зеленое, в форме ковша, куда, множество раз теряясь и вновь находя дорогу, впадали подземные реки. Лошади, несущиеся вскачь, внезапно останавливались, вздрагивали и одним махом перепрыгивали невидимую речку. Мелани, ее мать воспитывала лорда Артура до тех пор, пока тот со своим вассалом, сыном викария, и губастым слугой в узких с зеленым отливом крагах не уехал в коллеж в почтовой карете, нагруженной чемоданами. «Въедешь в ворота, а до дома еще расстояние в четыре деревни, – много лет спустя рассказывала мать Мелани, – тишина вокруг сказочная, коляска с мягкими подушками и на резиновом ходу подвозит тебя к крыльцу, в холле водружены мраморные колонны...» – «Неужели в камине и впрямь горел целый дубовый ствол?» – недоумевали слушатели. – «Ну, разумеется! А за мраморным лесом начиналась гигантская лестница. Поредевшие метелки выбрасывали сразу после того, как на рассвете прислуга, напевая *хой хо, хой хо*, заканчивала подметать».

По воскресеньям высокопоставленный государственный муж с искривленной ступней высаживался из тильбюри. Леди Бэзил скользила по коридорам

и часами просиживала в кабинетах за чтением Шелли, несмотря на принятые за завтраком соли «Крюшен». Воскресным утром по пути в собор Святого Павла она непременно останавливалась перед конной статуей герцога Веллингтона – сначала точно такую хотели поставить Песталоцци, но невежды, которые, в отличие от меня, сироты из Станца, не видели в небе Песталоцци на серой в яблоках лошади рядом с чумой и голодом на черных конях, этому воспротивились – и очень громко говорила леди Энн: «Look darling, это наш кузен». Вечером леди Энн спрашивала: «Могу ли я исполнить танец для ваших гостей, mummy?»

Смотреть, пусть и краешком глаза, как леди Энн танцует для Оскара Уайльда, и делить супружеское ложе с лесоторговцем! Он хлопал подтяжками, оттянет, отпустит, посасывал усы, мокрые от росы в осенние дни, когда слышно глухое бие-ние сердца земли, когда Цезарь во Фредеге почти счастлив, от того что бродит по берегу с раннего утра до позднего вечера и знает – дети близко, за туманом.

«Вот, вот, забавно... – говорил лесоторговец, посасывая мокрый ус. – Молодой лейтенант. Адольф, так, кажется, его зовут... Вот, вот, он попросил руки нашей Мелани». Но вроде он сам еще не устроен, живет с родственниками. «Вы видели семейное фото?» Снимал фотограф, по совместительству мастер педикюра: Адольф с книгой за столом, застеленным скатертью с помпонами; жена брата с очень внимательным взглядом; Эжен, ее супруг, дети Изабель, Авраам и Улисс несут на плечах все грехи мира. «Правда, Адольф мне сказал, что есть еще второе поместье, где-то в горах. И тем не менее этому Адольфу хватило смелости, чтобы... Только потому, что он квартировался здесь во время

военной службы... А! ты здесь, Мелани? Я не слышал, как ты вошла».

В комнате, обшитой панелями из лиственницы, царил полумрак. За окном падал снег, лесорубы тянули таль, чтобы опустить небосвод, в десяти шагах дороги уже не различишь.

– В чем дело, папа, о ком ты говоришь?

– О молодом лейтенанте, об Адольфе, который посмел свататься к тебе. К тебе, дочери крупного лесоторговца!

– Как? Мсье Адольф?

На белой шее Мелани выступили красные пятна.

– И... что же ты ответил?

– Ничего. Сначала займите положение, а потом уже сватайтесь и ждите ответа. Вот.

– Адольф мне рассказывал, что у них два поместья: – замок с виноградниками на берегу озера... (Ха! – усмехнулась про себя мать, вязавшая у окна, – разве они имеют понятие о том, что такое настоящий замок!) и второе, которое они называют Дом Наверху, доставшееся в наследство от дяди; единственный дядин сын упал с орехового дерева и разбился насмерть. Еще он мне сказал, что с ним живет сестра. О! что ты ему ответил?

– Как, Мелани, неужели ты хочешь нас покинуть, у нас же никого нет, кроме тебя? Ну ладно... Плодитесь и размножайтесь, – с горечью заключил лесоторговец.

Мелани залилась слезами. Некрасивая, кожа желтая в красных крапинках, как у форели, проплывшей в неглубоких водах в нужный час. Мелани жила в Юре, в комнатах, пахнувших горечавкой и васильком, тамбур с закрашенными стеклами не пропускал воздух в переднюю с плиточным серо-голубым полом, напрасно небо пыталось войти с другой стороны через узкие окна с тройными

рамами: тут внизу знали, что между звездами плавают странные рыбы, и плотно закрывали ставни. На подоконнике лежали сухие травы, вязанье и Псалтырь. «Дочь моя, – сказала мать, растившая лорда Артура, до сих пор ей часто снится слуга с толстыми лягушачьими губами и леди Бэзил, скользящая к кабинетам, наполненным еловым ароматом, где она часами читала Шелли, – дочь моя, если хочешь быть красивой, надевай на лампы розовые абажуры». Бедняжка Мелани: у нее большой вялый рот, и поэтому слова выходят бесформенные. Любого, кто разговаривал с ней, охватывала страшная тоска; собеседники, словно замороженные, не отрываясь, следили за непосильной работой, которую выполняли рот и нос; слова, еле прорывавшиеся наружу, имели резкий запах муравьиной кислоты. Дед лесоторговца сначала называл себя бакалейщиком, потом негоциантом, а будущий лесоторговец, единственный сын в семье, заработал капитал во время Первой войны, занимаясь перевозкой различных грузов. «Что бы такого мне еще перевезти?» – думал он, котелок на затылке, темно-синий китель, черные брюки, вытянутые на коленях. В Вердоне гремели пушечные залпы, пару раз он видел вдалеке Рима, возившего солдатам по развороченным полям бидоны с чистой водой. Вернувшись к себе в Ури, он положил на подоконник Псалтырь и присоединился к прежним компаньонам, коневодам с широкими выдубленными лицами. Обмотав кнуты вокруг шеи, они стучали сухим пальцем в окна домов и скакали дальше от фермы к ферме, ветер прерий подгонял их, надувая пузырем черные с белой вышивкой рубахи. Но будущий лесоторговец по-прежнему носил синий китель, а поверх него желтый непромокаемый плащ, найденный на поле боя. Мела-

ни шевелила толстыми вялыми губами, считая стежки на грязно-желтом полотне; на прусском камине черного мрамора стояла араукария, ствол перевязан розовой ленточкой, и хриплым голосом рассказывала, как присутствовала при рождении огромных рептилий. В тишине комнаты Мелани с матерью прислушивались к слабому журчанию воды, которое никто не мог объяснить, и наблюдали за тем, какое впечатление производили на их гостей, офицеров, охранявших границы Юры, золотые столики-жигонь. Адольф весь в зеленом, как скарабей, впервые войдя в гостиную, не сразу понял, где расположены окна, их закрывали штабели бревен для строительных работ, сложенные прямо у дома. Утром в воскресенье жена приготовила лесоторговцу накрахмаленную рубашку, закрепила пуговицы у ворота и на манжетах и положила рядом шерстяные кальсоны, потому что воздух еще недостаточно прогрелся. Но выйти из дома и присесть в кресла в садовой кованой беседке они смогли только около четырех часов пополудни. Вокруг цвели розы, на мясистом лепестке одной из них блестела капля росы или тумана. Мелани шумно вздыхала, Адольф чувствовал запах пота, особенно резкий, когда невеста обмахивалась бумажной салфеткой; Адольф отвернулся, слегка покачивавшаяся роза была похожа на красавицу-еврейку в синагоге.

– Как ее имя?

– Чье?

– Розы.

– Мадам Каролин Тестю.

Если у вас мать-птица, мать-горлица, совершенно неудивительно, что за секунду вы передумали свататься к вялой Мелани, вот она встала, пошла на кухню за бисквитами, ударилась о дверной

косяк, ляжки у нее, наверняка белые с синими полосками, и захотели жениться на Мадам Каролин Тестю. Вот-Вот толстыми потрескавшимися губами удерживал усы под носом; может быть, когда Мелани уедет, когда выйдет замуж за этого деревенщину, смолкнет журчание воды в стенах? Мелани – изда- лека было видно, как она покраснела – возвращаясь в беседку, споткнулась о единорога, растянувшего поперек дорожки, обернулась, бросила на него недовольный взгляд. По небу летела птица, все решили, что это ласточка – как они уже улетают? Зима грядет суровая, хозяин собаку из дому не выгонит! Что Мелани обнимать, что каменный столб – никакой разницы, зато она – единственная дочка, и каждый год тысяча стволов спускается по дорогам Юры к озеру, захватив с собой белых личинок, прячущихся в красноватых бороздках, и сорок, без толку долбящих кору клювом. И вдобавок в Париже Мелани прикупили золотую цепочку для часов и золотой плетеный браслет. Пузыри на коленях, котелок надвинут на глаза, торговец лесом и временем с ходу приценился к роцам Иль-де-Франс.

«Каждый месяц в Париже пропадает без вести сто двадцать человек», – в первый же вечер с удовольствием констатировал он, накрахмаленная салфетка заправлена за вырез жилета. Он подпер газету графином и теперь видел лишь верхнюю часть лица жены и Мелани, притихших и погрустневших из-за того, что в ресторане было столько женщин гораздо более элегантных, чем они. Если бы вечером, пока жена вязала носок, а Мелани, перемерив перед зеркалом платья, в полном отчаянии укладывалась спать, он не свернулся под сырыми гостиничными одеялами, связав ноги черными бархатными лентами (единственное средство от бессонницы), а отправился бы гулять в одиночестве, воры, прон-

зительный свист несся им в спину, приняли бы его из-за усов за полицейского и – «Послушайте! Послушайте!» – скинули бы в Сену. «Идем-ка, я хочу купить тебе браслет», – сказал он на следующий день. Мелани замерла перед витриной универмага «Printemps»: ах, этот белый воротничок в узорчатую темную полоску! «А вот и побрякушки!» Они зашли в магазинчик Картье, награжденного неизвестно за какие заслуги; Картье сам был наполовину из золота, желудок, зубы, оправа лорнета, владел охотничьими угодьями в Шантйи и приезжал туда со сложенным в шесть раз шелковым мешочком под пяткой, чтобы казаться выше. На улице их уже поджидали безмолвные грабители, сливавшиеся со стенами, девы с облупленными носами притворились, что поддерживают портик, гении свободы балансировали на золотых шарах. Потом Мелани с отцом занесло на площадь Согласия, огромную цирковую арену, где машины с нарисованными сзади номерами лавировали между вставшими на дыбы конями и тюленями, пускавшими в небо струи воды. «О! небо Парижа! – воскликнул лже-полицейский. – Черт возьми, взгляните на небо. Зачем я только привез вас сюда, честное слово?..» Они сели на обратный поезд, скучные попутчики с бледными лицами, стертymi меловыми подошвами, белыми руками и клетчатymi кепками слились в неопределенную массу под огромным черным окном, отражавшим электрический свет. «Подождите-ка, у меня есть расписание и путеводитель, я вам сейчас точно скажу, на какой мы высоте. Пятьдесят метров, как вам, а? Вот, вот. Сравните с нашими горами!» При приближении скорого поезда лежавшая на лугу корова поднялась на передние ноги, надо было сделать еще одно движение, чтобы встать, но какое? Два гения свободы

прицепились к последнему вагону поезда, прятали голову между вытянутыми руками, пригибались, приседали, выпрямлялись и пели, словно звезды, словно эолова арфа вечером в саду на детском балу с венецианскими фонариками. «Вот, вот, пять минут назад мы покинули Иль-де-Франс. Смотрите, небо совсем другое, недаром говорят, что в Париже небо особенное». Они вернулись домой с копотью в ноздрах и браслетом Картье, награжденного неизвестно за какие заслуги; сосед, соперник, следил за ними с башни, которая еле дышала, вдох, выдох, в тесном каменном корсете. «Архитектура – моя слабость», – заявил он, когда отстраивал себе донжон, расширявшийся кверху. Птицы, подлетая к сатанинским глазницам, замертво падали на землю; вокруг башни, как у подножья маяков, валялись птичьи трупы. Лес, начинавшийся в двух шагах от дома, тянулся до Северного моря, такой же темный, непролазный, что и лес на картине с лошадьми, скачущими галопом на переднем плане по осенней траве, измятой копытами и ветром. Портниха, нанятая шить Мелани платье, звонила в дверь, а мыслями была далеко, со своим Гамба, со своим Карлино, вспоминала, как он хлыстом выколачивает берет, и крошечная комнатка сразу заполняется белой пылью. Мелани вошла в гостиную, вычурно одетая, совсем непохожая на гордую и строгую – *prim and proud*, сказал бы джентльмен-фермер – мадам Каролин Тестю. Пахнуло потом, белесые глаза Мелани наполнились водой, слезы у нее были несоленые, но об этом никто не знал, она вечно задевала двери колышущейся грудью и бедрами с синими полосами, а выходя из дома, спотыкалась о единорогов, лежащих поперек дорог. «Вот и посмотрим, прекратится ли журчание в стенах после отъезда Мелани, – шептал лже-

полицейский, торговец лесом и пространствами, раздеваясь перед сном, – после свадьбы с Адольфом-деревенщиной. Хотя...» Спущенные подтяжки вяло хлопали по кривым ногам любителя верховой езды. Следующим вечером, глухая портниха в тот момент обкусывала кончик нитки, чтобы попасть в ушко, и с иголкой в руке развернулась к окну, а птицы, замолкнув, прислушивались к шуршанию сети по опавшим листьям, в которой уходящий день уносил с собой свет, джентльмен-фермер вдруг сказал: «Родителей у нашего жениха нет, что ж, надо бы мне наведаться в этот Фредег». Мелани прижала ладонь к колышущейся груди, по которой иногда проплывал маленький кораблик. В следующее воскресенье – «Крестьян только по воскресеньям и застанешь дома. Если отлучатся, то ненадолго: обойдут хозяйство, заложив руки за спину, осмотрят поля, помнут в пальцах пшеничный колос и подвяжут к колышку виноград. Одно слово мужланы, деревенщины» – он натянул тонкие кожаные перчатки на грубые, как у дровосека, лапищи и, гримасничая, чтобы удержать усы под носом, потрусил рысцей на кобылке к Фредегу. Неподвижные лошади на окрестных полях в тумане казались ему огромными. Мой сын был бы драгуном! Увы! Он привязал кобылку к кладбищенской ограде и, раскрасневшись сильнее обычного, с закипавшими в глазах слезами, постоял несколько минут перед безмолвной могилкой, где спал Гастон в платице в шведскую клетку – напрасно насекомые пытались уловить шорох человеческих надкрыльев, ни единого звука не было слышно среди кипарисов.

«Что ж, Адольф – сирота, он просит руки Мелани, значит, надо мне съездить в этот Фредег».

Поля перемещались в тумане вместе с ним, из-за едва различимых деревьев вдруг выходили

кусты, скакали, словно во сне, туда-сюда, резко останавливались перед мокрым от росы забором и стояли молча, с трясущимися ногами. Мадам Каролин Тестю в волнении смотрела с грядки вслед джентльмену-фермеру. Прошлым летом Адольф, прогуливаясь вечером с Мелани, неожиданно почувствовал аромат розы и подумал: «А что собственно, если я вместо вялой Мелани с синяками вокруг глаз и слюнявым ртом – он еще тогда не знал про бедра в синих полосах – возьму да и женюсь на мадам Каролин Тестю». Вот что значит иметь мать-птицу, горлицу, и отца, который снес башню, лишь бы больше не видеть пучка папоротника. Цезарь с песчаного берега заметил незнакомца, спускавшегося по дороге от вокзала к Фредегу. Солнце, протиснувшись сквозь туман, раздавало щедрыми сверкающими руками полдень городкам, расположившимся полумесяцем вокруг озера, в теплой воде еще плавали легкие камешки, розовые и серые озерные цветы, вечером Цезарь принесет их на окошко Гвен. В смутных мечтах представало перед ним счастливое будущее, и, в сущности, он был рад, что Эжен, женившийся первым из трех братьев, занял Фредег. Цезарю не хотелось брать Фредег из-за разрушенной башни, откуда упала горлица. Испуганные дети слышали, как отец крушил башню, потом сел в лодку и всю ночь греб то в одну, то в другую сторону под окнами Фредега. Промерз, простудился и умер. Трава на месте, где прежде стояла башня, больше не росла. Цезарь женится на Гвен и заберет Дом Наверху. А Адольфу тогда что? Но ведь Цезарь старший, имеет право. А что будет делать Адольф? О его намерениях жениться Цезарь не знал и подумывать не мог, что отец адольфовой невесты уже шел по дороге от вокзала и повернул к замку. В сущ-

ности, для счастья-то не хватало самой малости: чтобы сейчас во Фредег договариваться о свадьбе шел отец Каролин Тестю, а не отец Мелани; приподняв котелок над лысеющей макушкой, тот приветствовал лесорубов, сушильщиков сена. «Мы не ветки, листья и траву сгребает, а розы!» Цезарь смотрел, как темнеет к ночи небо, как разливается красный, отнимающий надежду свет заката, напоминая всем божьим детям, что земля вращается с запада на восток. У родителей Гвен красивый дом на выступе горы. Терраса с видом на озеро, просторные давяльни, резервуар на тридцать тысяч литров, по правую сторону пристань, куда трижды в день приходит пароход, стучит лопастями, вперед, назад, причалил, наконец. Однажды Мадам высмотрела на палубе первого класса – это он, вне всякого сомнения – своего посольского атташе, он прибыл по воде и суше на свадьбу юной американки и короля Идумеи. Мать короля Идумеи отдыхала на широкой с четырьмя колоннами кровати, тигриные шкуры ниспадали на покатый пол, этажерка из досок и красных веревок еле удерживала полное собрание сочинений Жоржа Онэ. В тот день устраивали дипломатический прием, и атташе Мадам, разумеется, был в числе приглашенных, саламандры задыхались в канавках на размытой дождями дороге, над низким дворцом простиралось небо, подернутое налетом, как синий виноград, пять часов утра, церемониймейстер натянул смокинг, слуга с холодным поросенком на подносе перешагнул через ванну, стоявшую на балконе; мать юной королевы, дородная американка с крашеными волосами, смеялась жутким смехом у окна, слишком узкого для ее габаритов. Да, совершенно точно, в кортеже ехал он, наш посольский атташе, которого Мадам повстречала

в Венеции на прогулочном катере, ее зажали в толпе между ним и шалью с черной бахромой, горящий глаз, золотая серьга в ухе, а потом на острове Торчелло он клялся ей в страстной любви! Увы и ах! свадебный кортеж исчез за изгородью-обманкой. Одной из девушек, которых королева-мать родом из Саксен-Кобурга расставила на башнях возле каждого караульного: солдат, девица, солдат, девица, вдруг надоели королевские игры, и она сбежала. И стала жить недалеко от Фредега с соседом Йедермана, художником, тем самым, что купался в озере нагишом, ел сырых улиток, громко постанывая от удовольствия, и читал стихи кошке. Цезарь, лежа на берегу, прокручивал в голове события прошлого, мечтал и ни на секунду не задумывался ни о цели визита незнакомца, спускавшегося по дороге от вокзала во Фредег, ни о том, что Фриц в новом корсете уже отпросился на два дня из Берна, чтобы посвататься к Гвен. Измученная лошадь остановилась на границе, где в небе над вишнями, шелестя крыльями, летают ангелы, говорящие на двух языках. Бедная Гвен! если она уедет в Берн, воды окончательно отделятся от земли, и достанутся ей разрозненные, странные озера, разлитые без всякого смысла по пастбищам. Фриц отслужил полгода в императорской охране; Гийом II в широкой белой шинели, заботливо наброшенной ему на плечи Вотаном, чтобы спрятать атрофированную руку, принимал парад рядом с императрицей Фридой, носившей бренденбургский френч. Дом Гвен, как и Фредег, стоял на высоком каменном фундаменте, жилые комнаты размещались на втором этаже. По краю сада с противоположной от озера стороны стояли давяльни, широкая утрамбованная полоса земли, трава на ней вырастет через тысячи лет, спускаясь

к огромным резервуарам, делала изгиб, который повторяет прибрежная полоса, когда озеро в дни страшных гроз бьется о стены.

– Этот Цезарь... – отец Гвен катал изуродованными ревматизмом пальцами шарики из хлебного мякиша. Мать вздохнула:

– Я бы предпочла Фрица, он должен приехать с минуты на минуту, – к тому же Фриц – наш дальний родственник, Гвен вышла бы замуж за своего. Но что поделаешь? Ей с детства нравится этот соседский мальчик, Цезарь. Полагаю, ему достанется Дом Наверху? Мы прогуливались там на днях, вы помните? Красивая аллея, конюшни... В общем, можно сказать родовое гнездо...

Она говорила, прищелкивая языком, как цापля; поправляла шиньон, поднимая плечо, тащившее за собой из корсета правую грудь, рука опускалась – опавшая грудь безобразно повисала на косточках из китового уса. Озеро, ставшее бутыльно-зеленым, катило волны с гребнями белой пены, чайки кричали, что осень уже близко и им голодно, отец Мелани позвонил в дверь башни, той, которую дети с легкостью отпирали стеблем одуванчика: «Для мамочки, – шептали они, – для горлицы, для юбочки из серых перьев». Теперь ее, горлицу, можно разглядеть получше: маленькая, в красных кожаных туфельках. Цезарь лежал на берегу, подперев кулаками подбородок, крошечная ракушка в коричневую крапинку уцепилась за кончик рыжей пряжи, в ладони врезались острые камешки, и задумчиво наблюдал, как от вокзала идет незнакомец в котелке, еле удерживая под носом густые усы; служанка булочника, тайком воровавшая бисквиты, свернула с дороги, издав издав лже-полицейского, и побежала прочь, прячась за большими сетями,

круглый год изображавшими туман над озером. «Правда ли, что родители Гвен ждут меня, как она уверяла вчера?»

– Ну, в самом деле, явится он или нет, этот ваш обещанный Цезарь? *Is he coming?*

Цезарю давно пора было проститься с озером, но его удерживала какая-то волшебная сила, повернуть налево к дому Гвен, потом прийти во Фредег и сообщить о своей свадьбе. Огромное озеро тихо дышало, Цезарь погрузил руки во влажный песок.

– Вот, вот, и впрямь замок, – с удовольствием констатировал лесоторговец, – точно, как нам рассказывал этот Адольф в зеленой форме, но я подумал: «Кто к нам издалека придет, тот совет, недорого возьмет». К примеру, теща моя из балтийской провинции...

Он наступил на тень башни, которую Арманд крушил ночами после смерти горлицы. Опрометчиво! Тремя годами позже лесоторговец-святотатец был насмерть затоптан лошадьми. «Вот, вот, значит, невестка похожа на средневековый город, сидит на бархатном канале, как на троне». (Куда однажды вечером, когда небо перевернется и станет багровым на востоке, когда шар земной затрещит и вздрогнет, как лифт, меняющий ход движения, могла бы сесть мадам Каролин Тестю).

– Вот значит, ваш брат, ваш деверь бывал у нас в гостях, и я к вам с ответным визитом, – он поспешно повернулся к Семирамиде, та опустила глаза.

– Да, – вежливо ответил Эжен, – он нам рассказывал о прекрасном приветливом доме в Юре.

– О! прекрасный!.. Это у вас прекрасный дом, почти замок; у меня дом, конечно, тоже большой и удобный, и не слишком старый, его построил мой отец.

Его отец был бакалейщиком, продавал хлеб, бросал буханки на огромную, как колыбель, чашу медных весов, и сюрпризы продавал, кульки из розовой и фиолетовой вощеной бумаги с конфетами и колечком, малюсеньким, годившимся лишь на пальчик мадам Каролин Тестю, которая, впопыхах натянув ботиночки на зеленые ножки, шла наверх в деревню. «Не навозом пахнет, – спорили конюхи, – розой».

– Одним словом, – продолжал Вот-Вот, – я тоже сначала имел дело с колониальными товарами, потом занялся перевозкой грузов и торговлей лесом. У вас здесь виноградники? полей нет? Ваш брат нам рассказывал о другом замке где-то поблизости, наверху в горах, ну, тот, который вы унаследовали от дяди, потому что его единственный сын упал с орешника и убится.

– О! нет никакого замка, – сказала Мадам.

– О! это *совсем крошечный* замок, – сказал Эжен.

Вот-Вот наморщил лоб. Имеется ли у этого Дома Наверху, как называл его Адольф, башня расширенная сверху и затянутая в корсет, похожая на ту, что есть теперь у его соперника? Соперника, соседа? Они крали друг у друга время и пространство, сосед, широкое, грубое лицо и внушительное брюхо, по-прежнему, носил черную крестьянскую блузу с вышитыми белыми крестиками на запястьях. Башню недавно отстроенного замка-логова украшали солнечные часы. Жозеф Диманш, иногда на неделе забредавший в эти края, хлыст вокруг шеи, считал, что латинский девиз, выгравированный на циферблате, очень подходит хозяину. Обычно тот стоял у окна башни, ведя наблюдение за домом Мелани, или опрыскивал известью сорняки в саду, муравьиные процессии тут же отправлялись к соседу, заползали на длинные стволы, приданое

Мелани, которое лесорубы уже грузили на телеги, чтобы начать спуск в несколько лье к озеру.

– Да, – подтвердила Мадам, – Адольф говорил, что у вас очень красивый дом.

92 – О! О красоте речи нет, зато почти новый, просторный, хорошо отапливается, знаете, с нашими зимами... Вот что, ваш брат, ваш деверь нравится моей дочери, она его любит, как говорится, она – хорошая хозяйка, два года провела с гувернанткой, два с кухаркой, еще пансион, школы, ну, и всякое такое... Ха! – хохотнул он вдруг, все бы было хорошо, если бы не шум воды в стенах!

Он и инженеров приглашал, и лозоходцев с прутиками.

– Вот что, в спальне у нас вода шумит. Похоже на журчание в камине, когда дрова горят. Но, черт побери! в стенах же не разводят огонь, или как?

Он в тайне надеялся, что шум прекратится с отъездом Мелани, заплаканные глаза, влажный рот. Тем временем Цезарь, крошечная улитка повисла на кончике рыжей пряжи, пытался подняться с земли – он словно в сетях запутался – и сбросить с себя непонятно откуда навалившуюся тяжесть. Наконец, ему удалось встать, ботинки увязли в сыром песке, встревоженные лебеди поспешили следом, как уже было однажды, когда он шел вдоль стены, накренившейся под ударами древних волн. Достаточно было свернуть налево от берега, пройти под окнами посыльной, щеголявшей в зеленом платье с баской и планками из китового уса, которая в тот самый момент вытаскивала из печного отверстия украденное приданое новорожденного, потому что наступала осень и уже собирались топить, чтобы опередить Фрица в новом корсете. А ведь Гвен ждала Цезаря и отца предупредила, что он зайдет. Цезарь слышал приближающийся цокот

копыт, но все равно повернул направо к Фредегу. «Адольф!» – несся ему навстречу смеющийся голос. Адольф чистил ногти в своей комнате с мебелью красного дерева и широкими гардинами из желтого дамаста. Вот если бы посылная украла их вместо зеленых занавесок Цезаря! Возможно, все было бы иначе. «Адольф!»

Адольф продолжал чистить ногти перед огромным хозяйским умывальником, за его спиной возвышалась кровать, на которой умерла тетя Жанна, на ночном столике валялся коробок сожженных спичек, в агонии она рвала белые вишни из хлопка, пришитые по кайме гардин из набивного кретона. Адольф чистил ногти. Если бы у него было по восемь пальцев на каждой руке, Цезарь вошел бы в гостиную первым – он все же старший брат, о чем его родственники имели обыкновение забывать – и сказал бы, что Гвен ждет его, и он женится. Но у Адольфа, как у всех смертных, было пять пальцев, толстых и плоских, с обгрызенными украдкой ногтями. Смеющийся голос позвал опять, Адольф спустился, проводил взглядом Цезаря, поднимавшегося по лестнице, и вошел в гостиную: Мадам отдыхала на канапе, отец Мелани с трудом удерживал усы между носом и губами, огромные ладони лежали на набалдашнике трости из тополя; если прислонить к ней ухо, можно услышать плеск волн, как в большой розовой колючей раковине, украшавшей круглый столик в спальне Мелани.

– А! вот и наш жених. В штатском, на этот раз.

Мадам принужденно улыбнулась, ослабив зубы водолаза в скафандре, ощупала конструкцию на голове, закрепленную шпильками, за которыми посылная – ей было лет двадцать, не больше, той августовской ночью, когда горлица перестала дышать, туман окутал озеро, и горы казались

высокими, как Гауризанкар – отправилась в город в тележке из коричневого ивняка: «Бигуди, валик из конского волоса, пакля, картон, гребни», – приказала Семирамида. Она заметила на пороге Цезаря, тот медленно поднял голову и в оторопи, словно никого не узнавая, обвел присутствующих взглядом.

– Ну же, Адольф, – Семирамида толкнула Адольфа локтем.

94 – Цезарь, ты – старший. Я хочу, чтобы ты первый...

«Быстро, быстро, надо сказать, что Гвен меня любит, что я ее люблю, что родители согласны». Но Цезарь, еще оглушенный шумом волн, замешкался, отцепляя улитку с рыжей пряди, и словно во сне услышал окончание фразы: «...первый узнал, что я женюсь». Лже-полицейский, с трудом удерживая усы на выпяченных губах, нелепо присел в реверансе.

–...и что мы возьмем Дом Наверху.

Само собой. Куда же им еще идти? Сейчас Мадам улыбалась без притворства, конструкция на голове, мертвый город, заполняла всю комнату, дышать нечем, о! как бы я хотел выбраться на карниз и пойти отсюда прочь по каменной дорожке.

– А я? – помолчав, спросил Цезарь.

Мадам рассмеялась, Вот-Вот вздрогнул от неожиданности, Цезарь медленно вышел, спрятался в конюшне, жеребенок, которого он решил подарить Гвен, ласково тыкался мордой ему в ладони; Гвен, высунувшись из окна, ждала Цезаря и увидела, что к их дому скачет Фриц.

– Но ведь ты говорила... Ведь этот твой Цезарь должен прийти просить меня о чем-то? *What then?*

Кузен Фриц незаметно поправил пластины корсета, который носил, подражая красавцам-офице-

рам, маршировавшим на параде перед императором в широкой накидке Валькирии, когда тот прибыл на концерт Хофкапеллы в сопровождении своей сестры Фрей, имевшей от него двенадцать сыновей.

– Вот и ты, Фриц! Вернулся, наконец, из своих Германий, – воскликнул отец Гвен.

Гвен, бледная, кривые передние зубки, золотистый локон на плече, вся как есть – любовь Цезаря. Одной минуты ему не хватило. Адольф медленно чистил ногти; имей он шесть пальцев, как у королевы Маб, Цезарь успел бы во Фредег. Но он потратил слишком много времени, чтобы освободиться от озера, следы на песке наполнялись водой, не мог же он войти в гостиную в мокрых ботинках и сообщить, что женится на Гвен, золотистый локон на плече, темно-синий шелковый фартучек на тонкой талии. И так уж ли хотел Цезарь опередить Адольфа? И Эжена много лет назад, чтобы первым подойти к девушке с мушиными глазами и в перчатках, набитых сырым песком? Мог же Цезарь отодвинуть крестного в сторону и растолкать людей из Франш-Конте, торопившихся к воротам, за которыми начинался бал... Теперь, прячась в конюшне, он пытался разглядеть прошлое в рыжевато-черной навозной луже. «Где дети? Они не умерли, иначе все бы об этом знали, где же дети? О! когда уйдет лже-полицейский, мы объяснимся, я – старший, в конце-то концов». Но отец Мелани остался на ужин, и, поднося к губам чашку, отставлял в сторону мизинец, так всегда делала его жена. «Вот что, – он поискал платок в складках одежды, – надо подумать о приданом, о свадьбе, о том, кого пригласить и все такое...»

«О, Боже, – думали гости на свадьбе, – взгляните на пастора за кафедрой, разве у него не кошачья

голова?» Совершенно верно, пастор, венчавший Мелани, так низко кланялся богатой жене Жозефа Диманша, владельца замка, что потерял голову. «О, Боже, похоже, пастор теряет голову», – отметила владелица замка, обмахиваясь веером. «Господин священник совсем без головы», – шептались набожные старухи в тамбурах с цветными стеклами. Жена пастора торчала у окошка, высматривая в морской бинокль, нет ли на горизонте богатых детей в белых резиновых сапожках. Пастор торопился домой, жена ждет к чаю, срочно надо найти голову взамен той, что закатилась под плюшевое канапе в комнате охраны. Хозяйка замка решила оставить ее там до поры до времени, чтобы напугать малышку Мариетту, племянницу уроженца Ури, последнего претендента на руку Изабель. Поэтому пастору пришлось взять кошачью голову с раскосыми глазами и бровями щеточкой, которая долгое время валялась у Элизы на куче компоста между тряпкой, кстати, вполне еще пригодной для хозяйства, Элиза – известная транжирка, ведерком из-под конфитюра, служившим по весне сеялкой, и зелеными стеблями. Такие стебли, если их сорвет ребенок, превращаются в трубы, но если ребенок, наигравшись, выкинет трубу, а взрослый ее подберет, в опухшей с возрастом руке снова окажется стебель круглой тыквы. Цезарь, когда оплакивал Гвен в конюшне, когда собирался в Дом Наверху и в последний раз поднимал глаза к окну, где стоял толстый граненый стакан и витой чугунный подсвечник, похожий на змею, слышал легкие звуки зеленой трубы. Дети! увы, напрасно он спешил вдогонку. Но вернемся к пастору, паства, увидев его с кошачьей головой, не позволила себе ни единого замечания, только малыш Поль, которого купали в ванночке у окошка, показал розовым пальчиком

на проходившего мимо пастора «киса-киса». Чья в том вина, что пастор потерял голову от богатой жены торговца лошадьми?

– Вы будете связаны с властью имущими мира сего, – предсказала пастору давным-давно на благотворительной ярмарке старая дева, графолог и филателистка, поджидавшая покупателей у палатки. Но это же Амели фиолетовые руки еле втиснулись в перчатки из шелка-сырца. Прачка из Фредега! Та, что немного не в себе. Вот уж вправду тесен мир.

97

– Чудесная линия удачи, богатство и успех.

Когда в деревню переезжал новый прихожанин, повозка со старой мебелью и пара захудалых лошадок, жена пастора в нерешительности спросила: «Альфред, они что бедные?» – понизив голос на последнем слове. Она мечтала, чтобы ее собственные дети играли и веселились в общественном саду с отпрысками богачей, обутыми в дождливые дни в белые резиновые сапожки, ежеминутно отсмаркивала бесформенный нос и вместо того, чтобы, как Зое в Доме Наверху, собирать крылья бабочек и сшить из них пальто, следила из окна за бонной англичанкой. Завидев белые сапоги в капитанский бинокль, Мадам командовала: «Быстро одеваться и марш на улицу». Ее малютки выносили с собой на прогулку самые красивые игрушки, чтобы понравиться высокомерным обладателям белых сапожек. Но, увы! Нянька бестолково кружила по саду, черные глаза, плоские и без века, которое почтовый голубь опускает, защищаясь от солнца, своего тайного врага, лишили ее способности ориентироваться. Она наугад бродила по саду; кажется, я уже где-то видела этот запыленный кусок хлеба. Однажды, заблудившись в лабиринте Хэмптон-Корта, она несколько раз проходила мимо валявшейся в пыли недоеденной булочки, которую выкинул

усталый путешественник, намотавший километры в кипарисовых стенах. Она сворачивала то налево, то направо, за кустами играла музыка Пёрселла – все напрасно. Это было на *Bank holiday*, после Пасхи, снаружи ее ждал Джим, женская шляпа, руки в боки. Лишь ближе к вечеру пришло спасенье – капитан лабиринта, поднявшись на палубу, показал ей дорогу к выходу – она успела на обратный поезд, вагон, обтянутый красным бархатом, почерневшим от островной пыли, до самого потолка был набит игроками в крикет. Наконец, она случайно набрела на детей в белых сапожках, рухнула на скамейку и разрыдалась. Вокруг общественного сада неслись галопом лошади-тяжеловесы. У окна башни топтался барышник, кнут на шее, не зная, куда деть красные лапищи, привыкшие хлопать лошадей по крупу; и служанки, заметив его в коридоре, быстро прикрывали зады. Он оглядывал землю – творение рук своих, лошади пробегают ее от края до края, разделяя воды и земли, оставляя озерца под копытами. Весной горки лошадиного навоза оттаивают и выпускают на волю стайки голубых и лавандовых бабочек. Но в тот день, первый осенний, на склоне холма только камчужницы поднимали потрепанные желтые головки. Мелани собралась замуж. «За того парня с юга, – шептались служанки, одной рукой, сморщенной от постоянной стирки прикрывая рот, другой – зад, – за карабинера в зеленом», за того, который, прогуливаясь по земле лошадей, припадал то на одну, то на другую ногу, стараясь обойти озерца, разлившиеся под волшебными копытами. «Вот, вот, сосед опять на башне с подозрительной трубой. Тебе бы, Мелани, надо было обождать со свадьбой, пока не высадили изгородь из туи. Я вас предупреждал. А что Цезарь? Он придет или нет? Я во Фредеге почти его не видел, веч-

но он то на озере, то в конюшне. Чудно как-то». Мадам, основательная словно город, заняла место в маленьком черном с зеленым поезде, Адольф и Эжен ждали Цезаря на перроне, его все не было. Поезд шел мимо дома Гвен, и Цезарь решил, что лучше добираться пешком по берегу до земли лошадей и опоздать на свадьбу на несколько часов, чем увидеть из вагона окошко Гвен, где с приездом кузена в новом корсете перестали появляться розовые и синие камешки. Озеро выбрасывало на берег жалкие ракушки с коричневыми крапинками, недостойные даже круглого столика Мелани, стоявшего на одной ножке в простенке между гипюровыми занавесками из Санкт-Галлена; под лакированными ботинками Цезаря сквозь песок выступала вода, семейные дела улажены, но где же дети? Гвен стояла у окна: влажные следы от камешков из озера исчезли навсегда. «Ну, ладно! И что же Цезарь?» – робко спросил отец. И тут вдалеке они заметили Цезаря: понунив голову, он брел вдоль озера, шаг по воде, два по песку. За стеклянной дверцей купе Мадам демонстрировала в профиль лицо-город, Страсбург или Амьен, украшенный к празднику. Семейство Мелани выстроилось на перроне, заполоненном травами прерий, произрастающими здесь, пока лошади отдыхают в стойле, служащий вокзала, вооружившись тяпкой, каждый год отвоевывает у пырея и осота жалкий прямоугольник асфальта. Наступила осень, озеро из розового и синего линяло в серо-зеленый, луг желтел, лошади в последний раз неслись галопом по равнинным просторам, но, увидев город с лестницами из снега, высадившийся из вагона, остановились, положили на изгородь длинные головы и заржали от удивления.

– Вот, вот. Значится, семейство в сборе. Все, кроме Цезаря? Любопытно.

В конце-то концов, соизволит ли этот братец Цезарь явиться или нет, и почему родственники, говоря о нем, притворно посмеиваются?

– Вдруг он теперь потребует свою долю? – спросил Эжен после сватовства во Фредеге, как ему казалось, шепотом, чтобы не слышали в соседней спальне.

– Замолчи, – быстро оборвала его Мадам.

100 И они нарочито громко принялись обсуждать совершенно посторонние вещи, пока Вот-Вот, сложив руки на набалдашнике трости из тополя, прислушивался к непонятно откуда доносившемуся шелесту ветра.

– О! Ему ничего не нужно, кроме конюшни, – сказала позже Мадам. – Ищите его? Идите в конюшню, не ошибетесь, он всегда там, ну, или со своими племянниками. О! Авраама он обожает, этого не отнять. Да, он полгода у нас живет, полгода у Адольфа, как сыр в масле.

Цезарь! Цезарь! Ему чудится, что здесь на земле лошадей его кто-то зовет? Может, это Гвен у окна? за ее спиной застыли две фигуры, Фриц и отец, который при слугах говорит только по-английски: «let's go, oh! масло it's a treat». Цезарь! Цезарь! Пока Мадам, сидя в окружении родственников Мелани, презрительно улыбается и, как дикарка, не отвечает на вопросы, мимо совсем новой башни идут дети и дудят в зеленые трубы.

– О! Цезарь? Несчастное существо, – поддержал беседу Адольф. – Но, однако же, мама при жизни, она умерла, когда мы были еще детьми, – пояснил он Мелани, – больше всех любила именно Цезаря.

Рыжая шевелюра нежно прижималась к юбочке из серых перьев.

– И что в итоге... – сказал Адольф веско, как положено настоящему мужчине, и пожал плечами.

«А если Цезарь потребует свою долю, дом и землю?» – с беспокойством думал отец Мелани. В церкви, где служил пастор с кошачьей головой, его, кроме этой мысли, больше ничего не занимало. Цезарь, сидя на скамье в последнем ряду, видел вдалеке в голубых и красных лучах неуклюжий силуэт под фатой из тюля. Рядом с церковью раздавался топот копыт, приближается страшный суд; от земли поднимался туман, зелено-желтое солнце пошло по краю рыжими подпалинами. И лишь за ужином в столовой с низким потолком, где Вот-Вот медленно варился вместе с другими гостями, возле пианино, на котором стояли две высоченные вазы, расписанные фиолетовыми камышами, Мелани заметила Цезаря, рыжая прядь поперек лба, робко прислонившегося к стене. Рост примерно метр шестьдесят восемь, с поднятыми руками, драгоценное создание, в тысячу раз дороже слитка чистого золота!

101

Гости, не церемонясь, спрашивали Цезаря: «Когда ваша свадьба?» – и животы, лежавшие на коленях, тряслись, как зверушки. Венок с задрапированной тюлем проволокой дрожал на голове Мелани, она как будто без конца извинялась и за кольшушущую грудь, и за полосатые ляжки, а голубые глаза с черными кругами наполнялись слезами. На кухне чавкала швея, ее громкий, как у всех глухих, голос доносился до столовой с низким потолком, где теснились ореховые деревья, которым вырезали ручки, ножки, спинки, превратив их в подобия сидящих людей. «Ну, хорошо! Цезарь, что скажете о новой невестке? Ладно! Цезарь, а когда у вас свадьба?» Мадам восседала на стуле; каменные лестницы на голове, о! все ли города Европы на месте или одного не досчитались? «Так когда же ваша свадьба, мсье Цезарь?» – невинно поинтересовался пастор

с кошачьей головой. Его жена спрятала за корсажем морской бинокль; она вздыхает, глядя в окно, где же дети в белых резиновых сапожках? где, где дети? Адольф смеялся, посверкивая золотым зубом, поправлял пенсне: «Цезарь...»

102 «Замолчите вы все, заткнитесь!» Цезарь схватил подставку для дров и замахнулся на гостей. Мать Мелани прикрыла рот фиолетовой ладонью, мужчины с недовольным видом отложили сигары, Адольф встал, чтобы размяться, руки, сложенные под полами пиджака, образовали чуть ниже спины маленький траурный столик. Цезарь швырнул в сторону подставку, та покатила по полу, подсакивая как мячик, и вышел из гостиной, никто не обратил на него внимания, только Мелани занавесила лицо вуалью и заплакала. Небо вмиг потемнело, и в комнате наступила одна из коротких, как жизнь насекомого, ночей.

– Вот, вот, говорите, что хотите, но ваш брат – парень с причудами.

– Он пьет, – просто сказала Мадам, – и живет в конюшне. Вы туда еще заглянете, когда он будет в Доме Наверху, – она ободряюще кивнула Мелани. – А? К чему это? – подумал отец Мелани. – Вот пойдете вы в конюшню и что увидите? Недопитый стакан *Villeneuve* или *Dezaley*, наш мосье предпочитает вино в бутылках.

Все были немного навеселе, конструкция на голове Мадам слегка дымилась, комната оседала под увеличивающимся весом гостей, к счастью еда закончилась, иначе они бы начали погружаться в землю и достигли бы ее ядра.

– Он пьет, – мягко повторила Мадам. И завела разговор об архитектуре и скульптуре: «Барельефы, горельефы... вы понимаете, что я имею в виду?» Она сложила лодочкой большие белые руки.

Цезарь шел по кромке луга, солнце спустилось к горизонту, уперлось ногами в землю, теперь можно было разглядеть его передние конечности и хвост, которым оно подметает небо по вечерам в конце октября. А над озером солнце расцветает огромной золотой розой. Прощай, Гвен, ангел однажды ухватит тебя за золотистый локон! больше я никогда не услышу твой голос! Не осталось мне ничего, кроме неба и конюшни, тайного прибежища. Цезарь поднял голову, небесный свод поднимался над землей лошадей огромным многоэтажным сооружением, медленно наступала ночь, стирая все без разбора, исчезли струны и гигантские занавеси с подхватами величиной с целую страну. Лошади галопом скакали по влажной земле, гривы разметались в облачные клочья, не так давно мир состоял из одних грозовых туч, громко ржавших в тишине вселенной. Во дворе грузили на повозки добро Мелани, глухая швея уселась на самом верху в кресло с позолотой и думала о своем Гамба, о своем Карлино. Цезарь издалека видел массивные стволы, подметавшие хвостами дорогу, он, никого не предупредив, с утра пораньше двинулся в обратный путь, чтобы опередить приданое Мелани и первым вернуться во Фредег. Хотя какая теперь разница? Стоявший на террасе кузен в новом корсете раскачивался из стороны в сторону, озеро безжалостно ворочало в волнах каменные цветы. Гвен встретила Цезаря на деревенской улице, упиравшейся в берег, где сушились сети, вечно эти рыбаки возводят стены тумана между небом и землей.

– Тебя не было, Цезарь?

– Я женил брата.

Маленькая ручка оперлась на поросший мхом камень, золотистый локон на плече, она держалась за стену, боясь скатиться под горку прямо в сети.

Виноград собирают! Пусть собирают! Виноградарь приколот к брезентовой фуражке две георгины. Услышав слово «свадьба», Гвен покраснела. Цезарь, заложив руки за спину, пинал стену ногой, пытаясь выбить замшелые камни.

– Знаешь, я ждала тебя на днях.

– Мой брат обручился.

– А мой отец тебя ждал. Но ты пропал. Куда ты пропал и не сказал ни слова?

104

– Я был на свадьбе брата; далеко отсюда. Он берет Дом Наверху, куда же ему еще деваться.

– Но я ждала тебя. И отец тоже, – помешкав несколько секунд, добавила она.

Цезарь медленно пошел прочь, Гвен осталась, оперлась о стену руками, потом крепко, до боли, прижалась к камням, сохранившим летнее тепло. «Гвен! Гвен!» – кричала ее томная мать, волоча по гравию террасы подол юбки с кружевным воланом. Пусть меня зовут! Пусть собирают виноград!

– У них, действительно, своего рода замок, – говорили между собой родители Мелани, греясь в последних лучах октябрьского солнца в плетеных тростниковых креслах, и с улыбкой добавляли, – а сами-то почти крестьяне. И теперь, когда второй брат женился, где Цезарю вить гнездо, позвольте узнать?

Через минуту повторяли то же самое, и так до позднего вечера, уже и сети вытащили на берег, и дома, накренившись, чтобы встретить шторм волн, приготовились к ночи. Посыльная, караулившая у окна, видела, как мимо проехал воз с горой картонных коробок и чемоданов, на которых восседала глухая швея, ее могучий голос разносился на многие лье вокруг. Над дорогой дрожали хвосты стволов, где поселились заблудшие букашки, красные клопы с черными точками, бесцельно сно-

вавшие по поверхности мира, катившегося сквозь пространство. Цезарь смотрел, как спускались тяжелые повозки, как повернули направо и начали подниматься в гору к Дому Наверху; и думал, а не вынуть ли этой ночью доску из днища «Данаи», ведь завтра Авраам и Улисс собирались на рыбалку. Лодка из Мейлери, высотой со скалу, качалась на волнах, один парус – темный, другой – ослепительно белый, шел високосный год, озеро текло через Понт-дэ-Машин, на берегу образовались мелкие лагуны, по которым каждое утро лебеди шлепали лапами из вишневого дерева, рыбаки принесли в замок римскую вазу, кухарка приспособила ее под подставку для ножей. Вереница повозок с мебелью, стволами, насекомыми и глухой швеей ползла вверх, Цезарь каждую осень уходил этой дорогой из Фредега и на повороте оборачивался, чтобы попрощаться с голой землей виноградников, нетронутой плугом, пронизанной, взрыхленной воздухом и лежавшей волютами вокруг лоз. Слуга в Доме Наверху в честь прибытия новобрачных водрузил на углу веранды на шесте, покрашенном по спирали белыми и зелеными полосками, флаг родного края Мелани: крупные листья желтой горечавки и бегущая лошадь. Колеса машины шуршали по гравию аллеи. Шофер, любивший свое дело за то, что сидя за рулем, мог заглядывать в окна первых этажей, где хранитель поземельной книги вешал на шпингалет рубашку и раздевались красавицы, давился от смеха, представляя, что везет мсье Адольфа, протиравшего лорнет в золотой оправе уголком жилета, на первую брачную ночь. Между деревьями показалась двухскатная вогнутая крыша Дома Наверху, на верхушке шеста под ветром хлопал флаг, и лошадь перебирала ногами на рыжеватом полотнище.

– Ну вот, собственно, – Адольф прочистил горло, – моя сестра Зое, моя единственная сестра, нас трое: Эжен, я и Зое, а, ну и Цезарь, разумеется. Ох... в любой семье, по правде сказать, есть черная овца.

Это Цезаря они так называют? Обнять бы эту черную овцу! И она прижала руки к колышущейся груди.

106 – Зое бросил один человек, подлец. Она, как говорится, его любила. С тех пор Зое немного не в себе. Да, мало-помалу она совсем перестала выходить за пределы поместья. О! оно большое, увидите, тридцать гектаров, прилегающих к дому, поля, луга и гора Юры в придачу. Виноградников нет, но, в общем-то, мне крупно повезло. Как подумаешь о неурожайных годах и филлоксере... Ну вот, значит, Зое больше не выходит, только немного работает в саду, она добрая.

Он никогда не рассказывал о Зое ни Мелани, ни Вот-Вот. Но теперь, когда они уже поженились, все как положено, заведующий гражданскими актами, похожий на пугливого оленя, расписал их в городской ратуше, украшенной листьями горечавки... Снаружи доносился стук копыт, лошади неслись галопом, осеннее небо опустилось низко, почти касаясь их спин, жокей-туман сидел верхом, дети, дудя в зеленые трубы, ходили вокруг церкви, они пока не нашли нужный звук, верный, вражеский, чтобы разрушить ее стены. Теперь, когда он женат на Мелани, когда возы с приданым уже катят по аллее, можно и рассказать грустную историю Зое, вставляя время от времени: «не будем судить». – «Не будем судить возлюбленного Зое! Да его надо шпагой заколоть, пустить ему кровь, выбить опилки из башки», – думала Мелани. К чему тогда, в конце концов, среди пятнадцати комнат

Дома Наверху – «Это и вправду замок», – написала она родителям, – оружейная комната: столько рапир и фехтовальных масок! Зое, хрупкие косточки, голубые белки, успела влюбиться в большинство из тех восьмисот молодых людей, кузенов, курьеров, служащих почты и поездов, шарманщиков, садовников, акробатов, виноградарей, которые повстречались ей в первые тридцать лет жизни. Всякий раз, когда какой-нибудь горбун или лысый появлялся на орбите, гости из Франш-Конте, просияв лицом, радостно восклицали: «О! будущий муж Зое». В отличие от претендентов на руку Изабель, женихи Зое не оставляли после себя ни аллювий, ни африканских ракушек, ни диссертаций по теологии, ни фигурок коров из кантона Ури. Жених исчезал, история заканчивалась, Зое с ненавистью вычеркивала все до мельчайших деталей из памяти. Последний жених – Зое уже окончательно переселилась в Дом Наверху, Мадам больше не хотела терпеть ее во Фредеге и с удовлетворением смотрела, как Зое уходит к Адольфу вести хозяйство (подумаешь, старая дева лишится Фредега и озера, ничего с ней не случится) – последний жених Зое, молодой человек с лицом из розового воска, измученный вросшим ногтем, уже полгода провел в их городке, сначала в магазине драпировок, потом в банке. Он говорил приглушенным голосом, пахнувшим катеху, отмерял ткани локтем, выполнял приказы двух рослых дебелих старух, одна, о чем свидетельствовало золотое кольцо на распушем отмороженном пальце, несмотря на прямоугольное лицо и свалявшиеся седые волосы, была за мужем, на вторую, как две капли воды на нее похожую, никто не позарился; и посетители отводили глаза, чтобы не видеть тайной драмы, разыгравшейся в магазине с чересчур ярким освещением,

где недавно по указанию мужа первой старухи установили витрину и заказанный в городе манекен. Магазины теснились вокруг покато́й площади, между двух вывесок до сих пор сохранился крестьянский дом, а сразу на выезде из деревни тянулись поля и фермы, одни прятались на берегу реки за деревьями, другие, воинственные, в шлемах и с мечами, заняли позиции на вершинах холмов. Зое покупала полотно на повседневные сорочки, она украсит их фестонами и разошьет гладью. Беат отмерил материю и завязал Зое на пальчик веревочку, «обручальное кольцо», – подумала она и покраснела. Революции уже начались, и Беат в астраханской шапке походил на русского эмигранта, особенно когда затягивал с приятелями «*Бом, бом, вечерний звон*» осенними, пропахшими навозом вечерами с капризной и неустойчивой, словно карточный домик, погодой, какая бывает разве что еще в марте. Беат снимал люстриновые нарукавники и назначал Зое свидание на площади, где в рыжих одеждах ноября еще стоял день, задевая облака высоким колпаком. Беат говорил о реестровых книгах, о тканях, привезенных из заморских стран, куда однажды он обязательно отправится – с ней? с ней? о, Боже мой! – Зое рассказывала о своей жизни, он не слушал, обводил скучающим взглядом поля, окутанные туманом, слегка морщил мясистый нос и выжидал момент, чтобы перебить ее. Над их головами косяками пролетали птицы, на краю долины выросла золотая церковь, далекие синие горы медленно пришли в движение, Дом Наверху стал розовым. Беат, весь в черном, в рубашке с накрахмаленным отложным воротничком, в узких ботинках, страшно жавших ему при ходьбе, позже эти самые ботинки помешают хозяину Беата, претенденту на престол, добраться до Италии. Беат

с Зое спускались к реке по гужевой дороге; возы стояли в сарае, там под лестницей дряхлый отец разводил рыб, выловленных в озере. Он почти ослеп, пора было сдать его в провонявший лизолом дом престарелых, где уже в пять часов наступала ненужная слепым ночь, но он цеплялся за дверные косяки, моля о пощаде.

– Дождь собирается, – сказал Беат и предложил спрятаться под деревом.

– Только не под ореховым, оно притягивает молнию.

– У вас в поместье прекрасные ореховые деревья, мадмуазель Зое.

– Но это ведь не у меня, а у моего брата Адольфа.

– А где же тогда ваш дом?

– Нигде.

Беат, сохраняя одухотворенное выражение лица, со всей силы пнул картофелину, упавшую с воза, и прошептал: «Катись отсюда».

– Но у вас все-таки есть собственный дом, – настаивал он с бернским упрямством.

– Да нет же, я, как Цезарь, мой старший брат, гощу то здесь, то там, а два наших других брата живут в поместьях, они уже женаты, обручены, вы понимаете.

– Но, тем не менее, у вас есть доля, – повторял он.

Беат сердился, вросший ноготь не давал ему покоя. Зое пока объясняла и сама начала удивляться, что ей ничего не принадлежит. «О! они отдадут мне все, что я захочу!» На чердаке стоит какая-то ее мебель, хотя ни комода Людовика XV, ни шотландского шарфа (Зое, вы слишком стары для шотландского шарфа, я считаю, вам надо подарить его Изабель) у нее, конечно, нет.

– Неужели? Правда? – повторял Беат рассеянно, морща мясистый нос.

А Зое уже говорила об озере, о песчаном берегу, о замке, в котором родилась. Что толку, ведь замок не ее! И что это вообще за замок? Может, он существует только в воображении Зое? Цезарь облокотился на изгородь у дальней границы поместья: «Где, где дети?» – думал он, глядя, как тает в ночи огромная золотая церковь. Повсюду до самого горизонта землю заполонили, покрыли тяжелым ковром густые травы, заячья капуста, пшеница и рожь.

110

– Это ваш брат там? Чудак какой-то, – строго заметил Беат.

Зое продолжала рассказывать о родительском замке, но Беату вдруг стало нестерпимо скучно, и, приподняв канотье и пробормотав извинительно: «Встреча с друзьями...», он побежал вниз по поросшей травой дороге, которая петляла по склону холма и потом сворачивала к кладбищу, куда детям и собакам вход запрещен. Собаки вставали на задние лапы, опирались на замшелую стену, свесив передние лапы над погостом и роняя слюни из тяжело дышащей пасти. Беат крикнул, правда, не слишком громко: «Катись отсюда!» картошкебинтье, упавшей в колею с воза. Крайне раздосадованный он вернулся к себе в комнатушку, где на веревке, натянутой в оконном проеме, сушилось банное полотенчишко, и больше никогда не появлялся у Зое. «Ну! Где же твой возлюбленный, Зое?» – каркали гости из Франш-Конте. Кто же теперь возьмет Зое? Когда она склоняла голову под лампой и, как дятел, стучала иглой по деревянному грибу для штопки, было заметно, что пробор у нее в волосах сильно поредел. Беат теперь работал в банковской конторе. Зое приходила, спрашивала его.

«Он ведь уехал», – отвечали ей. «Уехал? В отпуск?» – «Нет, претендент на престол (который как раз вернулся со свадьбы в Индумее) взял его в секретари». Зое прекрасно понимала, что Беат никуда не уезжал, что он прячется за раскрытой газетой, дрожащей в маленьких белых ручках, рыбьих, холодных, липких ручках банковского служащего, или что он, крыса канцелярская, насмерть перепугавшись, забился под высокую стойку, только перо за ухом предательски торчит. Его коллеги, обсыпанные прыщами, слабились, подходили вразвалку к окну, поглядывали, не идет ли Зое. «Нет, его здесь нет», – безжалостно отвечали они, пихая друг друга локтями. Зое уходила, пошатываясь и спотыкаясь, как пьяная, поднималась по дороге к Дому Наверху, где ей надо было уступить место гостям из Франш-Конте и переселиться в комнатку под самой крышей. Оттуда с наступлением ночи она и отправилась на поиски Беата и притащила его, бесчувственного и тихого, к себе, так кошка, порыскав в амбаре, приносит в дом, взяв зубами за шкурку новорожденного, слепого и глухого, котенка. Зое больше не спала, ранним утром небо цвета примулы, днем вещи выскальзывают из неловких рук. «Ты с ума сошла, Зое! Честное слово, Зое не в себе. Еще одна разбитая чашка». Но однажды за раскрытой газетой, за желтыми банковскими стойками действительно никого не оказалось, служащие разводили руками, выворачивали карманы, толкали друг друга локтями, пока Зое не решилась уйти. Беат вместе с претендентом на трон и камергером ехал вдоль озера. В закрытом вагоне? на лошади? в автомобиле? или схоронившись в повозке, которой правил крестьянин в черной, свободной рубахе с черепом, вышитым на запястье белыми нитками; это вполне мог быть барышник,

тот самый, что высунувшись из башни, ухмылялся вслед свадебному кортежу Мелани. При первых же слухах о войне претендент на престол покинул страну, ночью они прокрались к подножью горы, где спали ожидавшие их мулы в пополах; они не заметили мулов, проскочили мимо в двух шагах, несколько часов бродили вдоль ирригационного канала, так и не встретив ни единой живой души. Уже на заре вышли к пастушьей хижине, на пороге пастор, готовясь к благословению урожая, в первых лучах солнца отряхивал приставшие к сутане стебли соломы, на скошенной ароматной траве высилась гора кукурузных початков, и розовые козочки прыгали между подойников.

«Но мне, правда, очень больно идти, – хныкал Беат, – мне нужна остановка, это все из-за вросшего ногтя». Претендент сидел на выступе скалы, широко разведя колени, фланелевые брюки чуть не лопались на жирных ляжках. Он протянул камергеру шляпу, и тот вырезал из широких полей множество кружков, проткнул их посередине и надел Беату на пальцы с вросшими ногтями. Но, увы! Этого времени карабинерам как раз хватило, чтобы догнать беглецов, претендент поднял руки вверх, на его лоснящемся лице читались ненависть и облегчение, Беат, козел отпущения, несколько лет провел в темницах, нависавших над каналами. Заря окрасила стену тюрьмы в нежно-розовый цвет, Мадам, прогуливаясь по Венеции, заметила пирамиду бледных лиц за окнами с решеткой. Иногда Мадам стояла на берегу моря, опершись о картонную скалу, и, приставив руку козырьком к своим королевским глазам, ждала. За ее спиной Эжен качался с пятки на носок и внимательно разглядывал арматуру корсета, выступающую под платьем, Торчелло едва угадывался вдалеке, Мадам поднялась на катер:

«В вапоретто мы не поедem», села рядом с куртизанкой, державшей навесу белый платок, от чего узкая длинная рука казалась еще длиннее, и в первый раз увидела своего посольского атташе, он занял место слева от Мадам и наблюдал за птицами. Все морские пути вели в Торчелло, каждое утро туда направлялись голуби, павлины, попугаи, а с наступлением вечера медленно летели обратно и кружили над лодкой, пугая старого еврея, сидевшего на веслах. Пристань, вымощенная булыжником, просела под весом Мадам, атташе, сойдя на берег первым, подал Мадам руку. В следующий раз она встретилась с ним у киоска с открытками, потом перед церковью, наполовину ушедшей в землю. Чего он от меня хочет? Разве я похожа на женщину легкого поведения? Я?! Вот он идет ко мне, с явным намерением заговорить; Эжен хорош, все играет в ракушки с Улиссом и Изабель. «Мадам, извините, вы возвращаетесь в Венецию на катере?» – спросил атташе. Она, молча, удалилась; но впоследствии долгими, зимними вечерами, когда Эжен засыпал на стуле, жалела, что не ответила. Лорнет выпал из дрожащих рук и повис на роскошной муаровой ленте, ноги не слушались, пришлось присесть на прогретый солнцем парапет. Ох! Догадывался ли он, с кем имеет дело? Конечно, это был посольский атташе, кто же еще, лаковые туфли, черный пиджак, лента Почетного легиона. Она думала о своем удивительном детстве, о логарифмах, о первом бале, о слишком тесном для ее платья фиакре, о старике, шагавшем рядом по тротуару, и о том, что совершила ошибку, слишком быстро приняв предложение Эжена. На катере, отплывавшем из Торчелло обратно в Венецию, посольского атташе не оказалось, в последний раз она видела его на площади Сан-Марко, где даже ночью не смолкают шаги, он ждал кого-то

и беззаботно вертел в руках тросточку. Мог ли атташе каким-нибудь образом разузнать ее адрес? Мадам стояла в дверях вагона, ее мощный круп сносило волной пассажиров, на мгновение он разворачивался и снова возвращался на привычное место. Учтивый незнакомец так и не появился. После их возвращения Зое провела еще какое-то время во Фредеге с огромной мраморной раковиной в ванной и Семирамидой, сидевшей на канаве с бархатной обивкой. В Дом Наверху Зое вернулась сумасшедшей. Мадам, наконец, добилась желаемого. Но, кстати, на идею сойти с ума Зое навела не она, а Эжен. Сдвинув канотье на затылок, он с грустью осматривал смородину.

– Знаешь, Эжен, я бы хотела уйти. Далеко отсюда. У вас дети, хозяйство. И я бы хотела уйти.

Она почти ничего не весила, даже не примяла землю на грядке, где Эжен только что окучил карликовую фасоль.

– Ты рехнулась, Зое, – рассеянно ответил Эжен и отвернулся, на широком рафаэлевском лице, как на портрете тети Жанны, страшной, с накладной грудью под черным корсажем, красными пятнами расплзался купероз. Из конюшни доносились крики, Цезарь метал грома и молнии, мальчик-слуга, заслоняя от побоев конопатую физиономию, пулей вылетел вон.

– Наш крест! – прошептал Эжен. – Впрочем, жизнь у него обзавидуешься, как сыр в масле кагается! Полгода здесь, полгода там. И у тебя, Зое, тоже. И ты еще собралась куда-то. На какие средства, позволь поинтересоваться?

Тут встряла прачка Амели, жалкое создание:

– Вы видели, как она на вас смотрела. Мне прямо не по себе стало. А вам? Кстати, я уже однажды проходила лечение.

Она высовывала кончик языка и незаметно стригла пальцами воздух.

– О! И?

– Хорошо. Прекрасный уход и все остальное. Все печали забываешь с легкостью, как после стакана вина. Нет, я-то, конечно, не знаю, так говорят.

– Ты рехнулась, Зое, – повторил Эжен в полдень. – Уйти? Куда? С твоим-то слабым здоровьем? Ты же заморыш, заморыш, – снисходительно утешивал он сестру.

Мадам, заложив пальцем страницу в книге, тоже не преминула вмешаться:

– Да, ее возбужденное состояние свидетельствует о заболевании.

Во Фредеге на две недели военной службы квартировался врач. Он обедал за общим столом, голубой пластрон крепился на груди золотыми гвоздиками. Все заискивали перед Мадам, просили ее передать соль, подлить воды, она подняла крупную белую руку замурованной пленницы, требуя тишины, на полуслове перебила врача, пальцы ног дрожали в грубых, покореженных шишками и моzoлями туфлях: «Вы совершенно правы, я всегда увлекалась медициной, я...»

Чтобы простить Мадам, надо попытаться представить себе ее родителей, если и вправду, хотя это и не доказано, у нее было детство до того бала, когда старик-отец шел по тротуару, держа перчатку с мокрым песком, протянутую из окошка фиакра. Откуда им, изможденным повседневными заботами и суровыми зимами, найти силы объяснять юной великанше, что следует бережно обращаться с обычными созданиями, передавать им хлеб, соль и не пронзать королевским взглядом. Она подняла руку, воцарилась тишина, и сказала с кокетливым видом: «Думаю, из меня бы получился замечательный

врач». Доктор согласился, похвалил курицу с эстрагоном, нелегко пришлось ему в детстве, носки, сползшие на ботинки, белая тесемка, торчавшая по краю неровно подшитых брюк, всегда выдают мальчиков, росших без матери. Дождавшись, когда врач откланяется, Мадам сказала: «Зое слишком возбуждена – это явный признак болезни».

– Ты у нас заморыш, Зое, – прибавил Эжен.

– Но я могла бы чем-нибудь заняться.

116

– Чем? Ты рехнулась, Зое.

Ближе к вечеру Мадам, вычистив ногти, довершила дело Беата, Эжена и прачки Амели. Она не сводила глаз с грязной нижней сорочки, торчавшей у Зое из-под кофты. Эжен при первой возможности ускользнул на деревянную веранду, где однажды летним вечером он уснет и проснется с широкой багровой полосой на щеке: паук, спешно покинув озерные просторы, усеянные фиалками, пробежит по его лицу. Когда луна висит огромным тяжелым шаром на горизонте, вода, бьющаяся о стены Фредега, незаметно отступает.

– Останьтесь, Зое. Куда вы?

Зое присела на стул из зеленого репса с узорчатой прошивкой, которую делала сама задолго до появления в замке Семирамиды.

«Я смотрю на вас, – думала Семирамида, – как звезды смотрят на землю. Меня волнуют материи возвышенные: литература, архитектура, гигиена. Но что толку обсуждать это с вами, я умру, ни слова не сказав... Ну, Зое, как там ваш возлюбленный?»

Мадам прятала улыбку. Ах, вот бы она никогда не отрывалась от вязанья и не поднимала глаз! И была бы такая же, как все, подумаешь, широкое лицо и снежная крепость на голове, ведь это же обычный шиньон. Зое хотелось протянуть руку и потрогать его.

– Ну, Зое, как поживает ваш возлюбленный? Мне мизинчик кое-что нашептал.

Мадам с довольным видом уставилась на толстый белый палец. Зое потрянула головой, сдерживая слезы.

– Что? Нет новостей?

Напротив, есть. О! он просил поехать с ним. «Но я не могу оставить Дом Наверху, я ведь нужна Адольфу». Она прижала руки к щедедушной груди. «Он уезжает в Америку».

117

Он, перо за ухом, действительно, паковал чемоданы, собираясь бежать с будущим королем.

– О! он шлет письма, очень нежные.

Зое тоже однажды написала ему самое чудесное на свете любовное послание, которое потом выбросила из окна Дома Наверху в сточную канаву.

– Вот как, Зое?! Неужели? – спокойно сказала Мадам, по-прежнему сосредоточенно считая петли, – он вас так любит. Вы – счастливица, Зое!

Помолчала и, будто ее озарила внезапная мысль, воскликнул:

– Но тогда почему же он на вас не женится?! Что ему мешает? Этот юноша, он же совершеннoлетний, надеюсь? А вы, Зое, мне кажется, уже давно взрослая.

Вязание лежало на мощных коленях, Мадам, улыбаясь, смотрела на Зое.

Зое... Нет, он ей не писал, никогда. Он готовился к отъезду в Италию, он ни о чем ее не просил и не любил ее ни капельки. Тяжелый взгляд, его вполне можно было взвесить в миллиграммах, в сантиграммах, давил все сильнее, не было на свете ничего тяжелее этого взгляда, Зое разрыдалась.

– О! О! – с невинным видом вскрикнула Мадам. – Значит, не все так блестяще?

Зое, хрупкие косточки, голубые белки, волосы, прежде окутывавшие ее плащом, а теперь тусклые и редкие, полетела вниз с трапеции, натянутой высоко над землей. Сорвалась, как и Бенджамин, натиравший мелом маленькие ступни, перед тем как шагнуть на канат, и закончивший свои дни в девственных джунглях, напрасно жена, стоя на пороге хижины, махала сиреневым шарфиком, обычно прикрывавшим ее зоб. Зое принялась рвать носовой платок. «Вы сходите с ума, Зое».

«Нет, я не сумасшедшая, я в отчаянии, но почему бы мне и вправду не притвориться сумасшедшей? Я бы навсегда избавилась от их мерзкой жалости». И она принялась горстями отрывать бахрому от ковра из тигриной шкуры, который Бенджамин привез, чтобы стелить под ноги Изабель, но Мадам положила тигра под табурет у пианино, скрипевшего и кренившегося набок, как корабль.

«Ваша сестра Зое потеряла рассудок», – написала Мадам Адольфу. Она с трудом держала перо в огромной сильной руке, у нее пока что получалось ухватить крупные предметы, тарелки или палку, а вот тонкие иголки и ночных бабочек – уже нет. «Это тихое безумие, поручайте ей мелкие работы. Здесь она чистит фасоль, сейчас самый сезон для консервирования». Эти работы, чистить фасоль, вынимать косточки из слив для варенья – расплата, но в любой момент можно все бросить и пойти сесть на грядку. Сквозь грязное окно конюшни Цезарь видел, как младшая сестра погружает руки в землю; странный способ успокоить измученное сердце. Земля! Земля! Цезарь прижался лбом к теплому боку лошади, та вдруг вздрогнула и понеслась кружить в пространстве. Зое пешком отправилась в Дом Наверху, без вещей, непричесанная; она прошла поворот, за которым исчезает

озеро, где Цезарь останавливается каждую осень и в отчаянии зовет Гвен. «Гвен, Гвен», – вторят ему перелетные птицы. Мадам, не слишком довольная собой, вязала в кресле-канаве с бархатной обивкой: обратить в прах Зое, хрупкие косточки, задача простая, другое дело Эжен. Он до сих пор сохранял здравый рассудок, хотя и взял привычку ночевать в чуланчике за кухней: «тебе будет гораздо спокойнее, милая», – или прятаться от нее на деревянной веранде и спать на солнце. Кто знает, не сам ли Эжен поманил паука согнутым ревматизмом пальцем, с чего бы тот вдруг прибежал с озера, усеянного фиалками у берега, чистого и гладкого посередине? Торговцы-разносчики с лотками сдобных воскресных булочек на животе топтались на пороге, но взгляд Мадам, метавший молнии, обратил их в бегство, они мчались вдоль берега, по пути столкнулись с посыльной, которая везла в тележке из ивняка булавки с золотыми головками. Адольф ведь тоже сбежал при первой возможности, женился на Мелани с колышущейся грудью и очень редко ступал на дорогу, спускавшуюся к Фредегу. Римы разорены и уничтожены потерей бюро из золота и слоновой кости, Бенжамен-Догодела сгинул в девственных джунглях, Эжен переселился на деревянную веранду, Зое сошла с ума, остался только Цезарь. «Из чего он сделан, чтобы мне сопротивляться? Из дерева, из кожи, из трута?» Напрасно Мадам буравила Цезаря взглядом, он садился у камина, выходил из замка, шел в конюшню, возвращался, словом, творил, что хотел. Говорят, когда Мадам умрет, если в один прекрасный день она, вправду, умрет, может, Цезарь проткнет ее вилами в конюшне или пригласит на рыбалку, загодя вынув доску с днища «Данай», говорят, когда Мадам умрет, все жители деревни возьмут моду смотреть друг

на друга в упор, слабаки будут корчиться в муках и, в конце концов, исчезнут, удивленные ярмарочные артисты, красные от холода ноги торчат из блестящих трико, потоптавшись на подмостках перед деревней, таращившей глаза на их шеи и животы, медленно вернутся в балаганчик и повесят на гвоздики в ящик невесту с болтающимися пришитыми руками, нотариуса, лесоруба и Смерть. Но пока что Мадам живет и процветает, а Адольф и Мелани, сыгравшие свадьбу, все чин по чину, шагают рядом с лошадьёю по аллее между сикоморов.

«Ну, Зое.. – продолжал Адольф, – Зое все время придумывает новые имена, Диафан, например, – он пожал плечами, – и пишет их на стенах, на оберточной бумаге, на скатертях, на снегу, но хватит об этом, ладно? А вот и сама Зое».

Зое смотрела на брата, морщины поперек лба, запасная пара глаз болтается на золотой цепочке. Ах, она и впрямь сумасшедшая, разве хоть один ребенок с озера мог превратиться в подобное существо! Она, грубый синий холщовый передник завязан на поясице, отвернулась, не поздоровавшись с Мелани, и побрела вдоль стены персиковых деревьев.

– Она боится открытого пространства, своего рода агорафобия, – объяснил Адольф, – но когда Цезарь здесь, она выглядит счастливее.

– Цезарь, ваш брат, вы говорите, он гостит в Доме Наверху?

– Каждые полгода с начала осени. О! Он вас не стеснит, его почти не видно, он – чужак, – добавил Адольф строго.

Они вошли в большую комнату, обшитую деревом, в глубине – изумрудная печь, на потолке, на случай заморозков, спускной кран недавно установленной ванны. Адольф смахнул паутинку с рано

облысевшей макушки. Мухи, теперь? Первый день смерти мух был вчера, не правда ли? Адольф пытался отогнать муху, но та упрямо возвращалась.

– Так вот Цезарь... – Адольф присел у окна. – Полгода он проводит во Фредеге, полгода тут. Приходится терпеть его характер. Во-первых, он же наш брат... Не будем судить. И потом, если он потребует свою долю наследства, о чем он, к счастью, не задумывается, уверяю вас, часами лежит на спине в траве, а во Фредеге у озера или на виноградниках и смотрит в небо, или бьет в конюшне мальчишку-слугу. *Minus habens*, жалкое существо.

121

Он тихо засмеялся, вытирая лорнет уголком жилета.

– Тем не менее, если однажды ему вздумается жениться...

– О! У него есть такие планы?

– Планы?! Милая моя Мелани, кому нужен *minus habens*? Но над нашими головами все же висит Дамоклов меч, как выражается моя, то есть наша, невестка. Не будем судить, дорогая.

– И когда же ждать Цезаря?

Адольф отвлекся и не ответил, она покраснела, прижала ладонь к волнующейся груди. Он с неожиданной учтивостью стал показывать ей дом: «Ваш дом, дорогая». Если бы он не снимал лорнет! Мелани отвела взгляд от его глаз со сморщенными, как у новорожденного, веками.

– Вот комната Цезаря, он придет сразу, как закончится сбор винограда. Не беспокойтесь, у нас еще целый месяц впереди. Здесь с ноября по март много работы: дрова нарубить, починить инструменты. В сущности не очень справедливо, что Цезарь всегда проводит зиму здесь, а лето во Фредеге, сейчас рабочих рук не найти и расценки высокие. Но что вы хотите! Цезарь так любит виноградники!

Мы все желаем ему счастья, он же наш старший брат. Мама при жизни – я вам уже говорил, что ее уже давно нет с нами? – любила его больше всех. Мы не понимаем, почему он все время торчит на ферме, только и слышно, как он орет на мальчишку-слугу. Не принимайте близко к сердцу, дорогая, это наш крест. И все же ему очень повезло! Ладно, не будем судить.

122 Везы, нагруженные приданым, поднимались по аллее, глухая швея бросилась к Мелани, громко икая и тряся головой, как лошадь... «Лошади, больше я их не увижу!» Захудалая кобылка трусила от конюшни к фонтану. Эмиль, воспитанник общины, весь в синяках от побоев Цезаря, оседлав ее, смеялся, белые зубы сверкали на замурзанной физиономии. Стволы, слишком длинные и толстые для самшитовых газонов с овальными фонтанами, пришлось оттащить на берег реки и расселить личинок и красных клопов на стене террасы, где они и поныне живут в листьях пробившегося папоротника. Даже здесь, в Доме Наверху, прежнем логове младшего великана, черты его лунообразного лица начали вырисовываться отчетливее, даже здесь рос папоротник! Как на башне, которую Арманд крушил той самой ночью в густом тумане, и грохот камней смешивался с шумом волн.

– Разве виноград не собрали? – спросила Мелани. – Мне кажется, уже так холодно.

Снег падал на бедные виноградники, в доме Гвен приняли вино и затворили огромные ворота.

– Ну ладно, Цезарь, вас уже заждались в Доме Наверху, – ласково сказала Мадам, вынимая шпильку из шиньона. – Эта милая новая невестка, наверняка, устроит вам прекрасный прием. Нет, нет, не спорьте, Цезарь. Что ново, то и мило.

Мадам тихонько смеялась, склонившись над вязаньем, накануне она получила письмо от Адольфа, которое теперь прятала в корзинке для рукоделия: «Дорогая сестра, – писал он, – поскольку Мелани только приехала в Дом Наверху, не кажется ли вам, что мы могли бы провести эту зиму вдвоем, а Цезарю лучше остаться во Фредеге? Впрочем, как угодно, конечно, но у нас уже есть Зое, она не хочет больше стричь ногти. Какой пример для прихожан!» Зое не выносила цифру «2» и частицу «si».

– Но Цезарь... ваш брат... скоро он придет к нам?

– О! милая, у меня для вас сюрприз. Поскольку это наша первая совместная зима, Цезарь останется во Фредеге. Тем более невестка настойчиво просила, и я решил порадовать вас. Там внизу надо бочки подновить и пресс привести в порядок. Я подумал, что вам бы хотелось побыть со мной наедине. Вы не представляете, эти крики в конюшне... Цезарь – наш крест.

Цезарь в последний раз стоял на берегу возле качавшейся на волнах «Данай». Озеро поднималось, и небо почти касалось воды, живой мир был зажат клещами, по затверделому небу, не оставляя царапин на гладкой поверхности, скользил огромный птичий клин.

– Вот и осень, Цезарь скоро уйдет, у нас воцарится покой, правда, милая, – Эжен мастерил затычки для оконных рам.

Мадам взглянула на него: «Ты забыл?» Ее голос звучал заговорщицки тихо и немного взволнованно: «Письмо Адольфа... Цезарь проведет зиму здесь».

Эжен покраснел. «Я ничего не знаю», – пробормотал он.

Цезарь отправился в путь, в руке маленькая ивовая корзинка с рубашками из бумазеи, сложенными поверх зеркала для бритвы, которое он вешает на гвоздь в конюшне. Корзинка поскрипывала, как корсет, напоминая ему о Фрице. «Гвен...» – крику Цезаря вторили перелетные птицы.

– Комната для *minus habens*? Эту вы находите не достаточно хорошей для него? Что? комнату с окнами на юг? В следующем году, вы говорите? Не беспокойтесь, милая.

124

Адольф, крайне раздраженный, стоял на пороге Дома Наверху, раскачиваясь с пятки на носок на гуттаперчевых ногах.

– Смотрите, вот и он, ваш Цезарь! Сейчас мы ему скажем: «Возвращайся-ка обратно».

Цезарь шел по аллее, где давным-давно дети со свирелями и манками ловили птицу, чтобы принести ее маленькому разжиревшему великану, сидевшему на террасе в окружении гостей из Франш-Конте. Потом, вооружившись зелеными трубами, они обходили кругом Дом Наверху, стараясь найти звук, верный, вражеский, который обратит его в руины.

– Милая, – мямлил Эжен, – разве нам не следовало предупредить Цезаря? Зачем ему зря туда ходить?.. Нет, нет, прости меня, ты всегда права. Да, да, моя хорошая... – Но как только за величественным задом закрылась дверь, он, как Галилей после отречения, прошептал: «И все-таки!»

– В чем дело, Цезарь! – Адольф загородил дверь. – Во Фредеге не получили моего письма? Но я же отправил его позавчера. И сообщил, что нынешнюю зиму мы с Мелани собирались провести вдвоем. В конце концов, это наш медовый месяц.

Он смеялся, вытирая лорнет уголком жилета.

– Кажется, во Фредеге нужно бочки чинить. Тебя требовали, я уступил. Ну, подожди, Цезарь, ты не можешь так просто уйти. Цезарь!

Бродяга, бездомный развернулся на сто восемьдесят градусов и, не оглядываясь, пошел вниз по аллее.

– Надо было угостить его чем-нибудь, – сердито пробормотал Адольф. – Ну, моя дорогая, где же вы? Дело сделано, мы одни. Жаль, что я не успел налить ему стаканчик сливовой водки.

Пока Цезарь спускался к Фредегу, железное небо размягчилось, блеснуло солнце и окрасило облака в рыжину. «О! Цезарь, уже вернулись?» – крикнула Мадам, караулившая у окна. Цезарь сдвинул шляпу на затылок и, не проронив ни слова в ответ, побрел к поленнице. Мадам зашлась смехом равноденствия, посыльная вздрогнула, у соседей полопались окна, стекольщик спешно покинул мастерскую в соседнем городке. Значит, Цезарь проведет зиму во Фредеге, увидит, как озеро становится серым, на его поверхность выходит железо, а легкие камешки, которые Цезарь на рассвете клал на окошко Гвен, исчезают. Гвен выходит замуж и уезжает с Фрицем, на этот раз у него, действительно, новый корсет под мундиром, товарищи Фрица держали скрещенные шпаги над головами жениха и невесты, золотистый локон цвел на плече, а где же Цезарь? На берегу, как в тот день, когда Вот-Вот шел вниз по дороге с вокзала, смотрит в небо, медленно приближающееся к земле. Озеро несло на огромной спине лодку из Мейлери, рыбак в синей рубашке вылез из каюты и потягивался в колком туманном воздухе ноября. Пока Цезарь пережевывал недавнюю обиду и снова и снова вспоминал сбор винограда и прощание с Фредегом, Мадам – Цезарю показалось, что она ослабила мутные, как

у водолаза в скафандре, зубы и смеялась ему вслед – прятала письмо Адольфа в корзинке для рукоделия под старым письмом от своего отца и огрызком карандаша.

– Вот что написал мне Адольф, – сказала она в первый же вечер, – Цезарь, не желаете ознакомиться? Ну, как хотите...

126 Цезарь и головы не повернул, сидел у камина и слушал журчание ручейка, доносившееся сквозь треск прогорающих поленьев. В конце концов, почему бы ему не жениться? Он старший, имеет право. На дочери инженера с домом-пароходом? На дочери адвентиста? На племяннице Тома, которая каждый день метет пыль в дядюшкином саду? На следующий день он рассеянно подбирал камешки на берегу. «Ведь, правда, наши камешки лучшие на свете?» – говорили дети, полные пригоршни гальки, двадцать блинчиков по воде. Детские лица мало-помалу вырисовывались все отчетливее. Цезарь раскладывал кругом серую гальку, розовую, синюю:

Зеленая мышка бегает по травке,

Я поймал ее за хвостик,

Показал гостям,

Пим-пи-пом-дор

Самая красивая выйди вон.

Дочь инженера! Жаль. Высокая, ладная, степенная.

Пим-пи-пом-дор

Теперь выбывает племянница Тома, та, что метет пыль в дядюшкином саду. «Она бы согласилась», – уверяла позже Изабель. Бедная Изабель! Куда она пойдет, а Улисс, а Авраам? Мадам возглавит шествие, робкий Эжен с пеларгонией будет замыкающим. Поделом им. Эти подлые проводы – Мадам с Эженом, наверное, со смеху умирали у него

за спиной – последняя капля, чаша переполнена, вода потоками льется через край в поддон, небо еще ниже опустилось к земле и озеру. Жребий выпал на дочь адвентиста. Цезарь даже имени ее не знал и видел всего несколько раз, когда она в субботу, по их адвентистской вере это воскресенье, гуляла вместе с родителями. «Увы! – думала она, – если бы в этот момент я была в другом месте, если бы садилась в поезд, если бы шла по тропинке с боярышником, возможно, мне бы встретился молодой человек и попросил бы моей руки». Но только она со своими родителями приближалась, женихи отступали, как блуждающие огоньки. Цезарь решил дать последний шанс Мадам и ее камарилье: он будет обходить стороной клинику адвентиста. И если до апреля не встретит его дочь... Однажды Цезарь схитрил, заметил ее издалека и свернул на другую улицу, это случилось в один из февральских дней – предвестников весны, скачущих верхом в острых колпачках, в руках длинное копьё, в золотом наконечнике которого спрятано послание: еще пять недель и наступит первое апреля; и никакой дочери адвентиста, только камешек в руке! Цезарь играл с огнем, бродил рядом со стекольной фабрикой, по дороге, ведущей в клинику. Черный костюм, на рыжей шевелюре – шляпа-котелок. «Куда он идет? У него свидание?» – спрашивали друг друга слуги, пирамида бледных лиц за окном с решеткой, хлопья пены долетали сюда только во время сильных гроз. Цезарь старательно обошел место, где раньше возвышалась башня, место, где, не ведая страха, топтался Вот-Вот, за что три года спустя был убит лошадьми, место, не раз попрущенное огромной, изуродованной мозолями и шишками ногой Мадам, что вполне могло явиться причиной ее ужасной смерти в лодке. Цезарь шел по дороге

к вокзалу, по которой недавно к Фредегу Вот-Вот, спешил сватать Адольфа. Ах! Если бы Цезарь в тот день прибавил шагу! Если бы быстрее отцепил полосатую улитку с рыжей пряди! Ладно, хватит об этом. «Разве по любви женятся?» – спрашивал с усмешкой старый овдовевший дядя, пытавшийся поджарить яичницу на горячем утюге. Дочь адвентиста! Бог мой, вот она передо мной! На сей раз никуда от нее не убежать, жребий брошен, дурак, с чего тебя понесло сюда, ведь все люди ходят другим путем? Единственное, что остается – тянуть со свадьбой. Она возвращалась из города и уже сворачивала на улочку к клинике, но замешкалась, подвязка лопнула, спряталась за изгородью, чтобы поправить чулок, и вот столкнулась с мсье Цезарем! Она несла большой сверток, родители были слишком бедны, чтобы оплачивать посыльную, да и зачем нужна эта посыльная, в общем-то, никто никогда точно не понимал, какую роль она играла в жизни обитателей Фредега; имелись подозрения, что посыльная ночами шастает по карнизу, иначе как бы она узнала и позже рассказала своей задушевной подруге Жибод, что после свадьбы Цезаря несчастного Эжена подвесили за ремень на гвоздь, и Мадам стояла перед ним, заложив руки за спину и выставив ногу вперед, и улыбалась? Кажется, нечто подобное видела посыльная через окно их спальни.

– Что вы здесь делаете? – оторопело спросил Цезарь.

– Гуляю, – ответила она, пряча сверток за спину.

– Повезло вам.

– О! папа в субботу утром крестит на озере, а у мамы много хлопот по хозяйству.

– А ваша милая сестрица?.. Вы старшая, не правда ли? Вам бы не хотелось в ближайшем будущем

обзавестись собственным хозяйством? – продолжал он рассеянно, рисуя мыском ботинка восьмерки на песке.

Девушка уронила сверток, всплеснула руками: «Ох! мсье Цезарь!», подошла и положила голову ему на плечо. «Я уже так давно... Но вы же не обращали на меня внимания...» Поскольку дочь адвентиста плакала часто, глаза у нее были зеленые с красным. Но кожа – Цезарь разглядел вблизи – бархатистая.

129

– Мсье Цезарь, мсье Цезарь, какой же вы скрытный! – через пару минут восклицала жена адвентиста и с напускной строгостью грозила Цезарю пальцем; она считала, что в умении мило журить подрастающее поколение ей равных нет. Страшный палец являлся молодым людям во сне, и в ранний час, когда посыльная ехала вдоль берега в скрипучей тележке, они вскакивали с постели, обливаясь холодным потом.

– Мсье Цезарь, вы же совершенно не замечали Бланш!

Бланш! Цезарь вздрогнул. Как угодно, Николь или Маргерит, лишь бы не это имя из пены. Но отступать слишком поздно, на пороге появился отец, Бланш бросилась ему на шею с радостным криком:

– Я помолвлена!

– С мсье Цезарем из Фредега, – торжественно подтвердила мать. – Папа, плесни-ка нам безалкогольного вина.

– Мсье Цезарь, вы намереваетесь получить поместье, как оба ваших брата? – через пару минут осведомился адвентист.

– А если мне устроиться на стекольную фабрику? О! не рабочим, конечно, экскурсии водить, объяснять, показывать. А леди С., невозмутимой, с полной корзинкой домиков Оберланда.

Бланш состроила жалобную физиономию: значит, замка не будет? Если жених – экскурсовод, о какой свадьбе речь... Но выйти замуж... Когда глаза у тебя вечно на мокром месте и нос краснеет, когда при виде праздничного шествия в две тысячи человек с приозерными жителями во главе у тебя наворачиваются слезы, и девчонки кричат вслед: «Тетя Бланш – плакса!»

130 – Экскурсоводом на фабрику? но зачем, если у вас два дома?

– Там живут мои братья. Впрочем, я все улажу. Если хотите, – он потер лоб, – поговорим об этом позже.

Адвентист замолчал – так ли уж выгодно это замужество? – взгляд его устремился поверх головы жены и дочери на буфет Генриха II, на губах заиграла бледная улыбка, и сам он вдруг стал почти прозрачным. Во время проповеди на лужайке он тоже внешне преображался, замирал, воздевал руки к небу и с приоткрытым ртом всматривался в какую-то точку на горизонте; прихожане украдкой оборачивались, но нет, ничего, опять ничего, ни малейшего признака страшного суда, никакого черного коня на волнах, потом рука опускалась, и он продолжал службу.

– Бланш помолвлена с мсье Цезарем из Фредега, – невзначай обронил он следующим утром низкорослому коадьютору, занимавшемуся бухгалтерией, тот нежно глянул на собрата и прижал два согнутых пальца ко рту, прятавшемуся в густой спутанной бороде.

Группа больных с толстой баронессой во главе босиком пересекала лужайку.

– Ах, мсье Альфред! – воскликнул коадьютор, – я очень, очень рад. Это реванш.

Какой реванш? Что он имеет в виду? Глупый, ничтожный человечиска? Разве я неудачник? Ре-

ванш за что? только взгляните на эти прекрасные постройки, на лужайку, на почтенных больных. Может, и другие позволяют себе думать, что я – неудачник? Вечером в супружеской спальне они с женой поздравляли друг друга: «Представь только, если бы мы не переехали сюда и продолжали бороться с абсентом в краю, где рвут горькую полынь, отжимают и перегоняют тайком. И стоит пастору выйти из дома, как его поднимают на смех. И Жозеф Диманш с длинным кнутом вокруг шеи...» С чего коадьютору взбрело в голову говорить о реванше?

131

– Где они будут жить? – спросил он вдобавок, вот старый дурак.

Цезарь вернулся во Фредег. «Откуда, неужели со свидания?» – шептались слуги за решеткой.

– Мне интуиция подсказывает, – говорила Мадам, сидя на канаве с бархатной обивкой, – ему хотелось жениться. Он все понял. О! конечно, благодаря мне. Нынешнюю зиму Цезарь вел себя очень спокойно. Он, наверное, немного обижается на нас за эту историю с Домом Наверху... Прекрати качаться! Подумать только, всю жизнь ты заставлял меня волноваться по поводу этой проклятой женитьбы! Я-то знала, что Цезарь обожает племянников, но ничего не хотела говорить. Замолчи, вот и он.

– Вот и я, – подтвердил Цезарь, переступив порог, – я обручился с дочерью адвентиста, со старшей.

Мадам уронила вязальную спицу, нагнулась, выпрямилась. Багровая, тяжелые волосяные лестницы накренились влево.

– А! легкое помешательство, – с расстановкой произнесла она. – Со старшей? у которой красные глаза? Цезарь! Вы женитесь?

- В общем-то, имею право, я старший.
- Ну, разумеется. И где вы будете жить?
- О! решим позже. Не будем загадывать наперед.

Эжен качался с пятки на носок. Она жестом велела ему прекратить, медленно сложила вязание, воткнула спицу в шиньон, встала. И уже в дверях всхлипнула: «Вы, естественно, можете поступать, как угодно, Цезарь... Не я здесь... Ваша мать...»

132 Рыдания не дали ей закончить. Назавтра с утра пораньше углы скатерти лежали на тарелках Цезаря и Эжена, Мадам подметала столовую, метла время от времени выскальзывала из огромных рук. «Надо привыкать», – бормотала Мадам. Потом, протерев пол вокруг ботинок Цезаря и Эжена, вышла из комнаты, полезла на чердак и все утро шумела там, ворочая сундуки и чемоданы. В полдень она спустилась в гостиную в старом дорожном костюме, в клетчатом мужском пальто с накидкой, которое когда-то бедная, измученная мать сложила ей в свадебную корзину, огромную, как корзина для белья. На десерт к кофе Эжен вынес жестяную коробку с брюссельскими вафлями: «Чтобы отметить это... это предприятие...» Мадам указала пальцем на мебель и тихо сказала:

– Цезарь, гарнитур в гостиной я доверяю вам. Его надо чистить очень осторожно, по ворсу. И каждый день. Бархат собирает столько пыли! О! как несправедливо устроена жизнь, – воскликнула она вдруг, потом, немного успокоившись, прибавила, – мебель в гостиной требует ежедневной чистки! Касательно пианино, не забывайте класть на клавиши покрывальце из белого сукна, которое я сама сшила. Давно уже...

...когда только от нее зависело, за кого выходить замуж. Выбери она врача... Врача? вы смеетесь? Синдика, генерала! Цезарь спрятался в конюшне,

внутри через открытую дверь проник солнечный луч, окрасив черную навозную лужу в рыжий. Цезарь больше не видел в ней ни прошлого, разрушенную башню, камни, которые отец сбрасывал на белые розы, упавшие накануне с гроба молодой покойницы, ни будущего, лошадей, затоптавших Вот-Вот, ужасную смерть Мадам в лодке, погружавшейся под воду, постаревшую Изабель (у нее, как и у Зое, отберут шотландский шарф). Вечером Цезарь, черный костюм, капля одеколона на носовом платке, ушел по берегу в неизвестном направлении. Создания третьего дня качались в легких волнах, лизавших песок. Цезарь раздавил полосатую улитку, ту, что слишком поздно отцепил от рыжей пряди, когда Вот-Вот... Мадам, стоя у окна гостиной, смотрела вслед удаляющемуся Цезарю, Эжен робко приподнялся на цыпочки, в надежде увидеть кусочек озера. Мадам хранила непроницаемое молчание, она никого ни в чем не упрекала. Погода в апреле, месяце соков, пасмурная, пустые ветры подталкивают темные, похожие на густые кроны тучи, медленно плывущие по серому небу. Бланш потела, они с Цезарем бок о бок прогуливались в парке, где в последний раз перед сном босая баронесса водила по тропинке отряд больных.

– Вы тоже принимаете лечебные процедуры?

– О! я утром гуляю босиком по траве, для улучшения кровообращения.

Ляжки у нее фиолетовые, а если надавить пальцем – нет, Цезарь не надавливал, конечно, пока еще нет, – на коже остается белый след.

– Отец хотел, чтобы я, как другие пациенты, носила тунику с поясом, у баронессы туника из китайского шелка. Отцу нравится. А вам?

– Нет, нет, – рассеянно ответил Цезарь.

На следующий день Бланш отправилась к портнихе. Когда свадьба? О, Господи, она даже не знает. Похоже, Цезарь не торопится. О! дело не в этом, просто надо уладить с братьями некоторые вопросы; Цезарь милый, очень милый, каждый вечер приходит, как покатается на лодке, он очень любит озеро. В любом случае дорожное платье ей не мешает. Может, в серых тонах?

– О! мадмуазель Бланш, я вам не советую серый. Лучше цвет лилии или розы. Нет, в сером я вас не вижу, серый – цвет блондинок.

Бланш выбирала фасон, тыкала пальцем в картинку в журнале мод, вопросительно поднимала брови, портниха отрицательно качала головой и, послушав палец, быстро переворачивала страницу. «Хорошо бы еще свадебное платье из белого кашемира», – думала Бланш, и ее зелено-красные глаза наполнялись слезами, – выйдет ли она вообще когда-нибудь замуж? Однако же Цезарь пригласил ее во Фредег.

– Как, – удивился он, – вы не знаете, где замок?

– Думаю, нет, мне замок не по пути, видите ли, мы живем по другую сторону железной дороги, и все нужные магазины есть около стекольной фабрики.

По ночам псевдо-церковь, крытая листовым железом, полыхала огнем, молодые мужчины с синими повязками на лбу, как у акробатов, хватали огромными щипцами горячее стекло, окрестные виноградники загорались один за другим.

– Вот моя невеста, – Цезарь отважился подвести Бланш к Мадам, восседавшей на бархатном канapé. Бланш... капельки холодного пота повисли на кончиках длинных пальцев. Мадам, тяжелые веки упрямо опущены, вышивала широкую гардину и не издала ни звука в ответ. Молчание затянулось

на несколько минут. Вдруг Цезарь заметил Эжена, тот принес вино и брюссельские вафли в жестяной коробке и притих, скрючившись на низком стульчике. Посыльная простудилась и в ту ночь отлеживалась дома, поэтому никто так и не узнал, что произошло позже в супружеской спальне. Между тем Бланш, вежливо повернувшись к городской статуе – птицы гадят ей на плечи, у ее ног играет мужчина в соломенной шляпе – к статуе, которая продавила задницей канопе, спросила, что она вышивает. Огромными белыми руками.

– Это гардина, – выдержав паузу, с расстановкой ответила Мадам, – гардина для гостиной, таких нужно четыре.

– Сколько труда.

– Да, работа необъятная, займет месяцы, годы. Я хочу переделать весь замок. У меня множество планов. В голове.

Мадам, не поднимая глаз на Бланш, постучала по огромной, как шар земной, голове. Цезарю вдруг стало жаль ее; бедная, все насмарку, конец гипнотизерским трюкам, и она это чувствует. Похоже, она сейчас улыбнется, вот уже один зуб водолаза в скафандре показала, вот второй.

– Я хочу оборудовать ванную, разобрать изразцовую печь. Провести центральное отопление. Тут стены в два метра толщиной.

Она еле слышно засмеялась. «Значит, – разочаровано думала Бланш, – нам с Цезарем не достанется Фредег? Обидно! Башня, глубокие амбразуры, вид на озеро... Тогда Дом Наверху? Другого варианта я не вижу, правда...» Она, как кролик, грызла вафлю; задерживала на мебели взгляд зелено-красных глаз. Присматривается, изучает, о! ничего она не получит, пора подлить масла в огонь. И Мадам заговорила о младшей сестре Бланш:

«До чего же красивая девушка и совсем юная! Само очарование! и почему она до сих пор не замужем? У нее, наверное, нет недостатка в женихах». Мадам опять замолчала, обреченно склонилась над рукодельем и больше ни на какие вопросы Бланш не отвечала. Проводив невесту до порога сумасшедшего дома, Цезарь уплыл на «Данае». Он толкнул лодку к озеру, днище у берега скребло по песку, прыгнул на борт, взмахнул веслами и вышел в открытые воды. Посередине озеро рассекла темно-синяя река, в тихих глубинах плавали рыбы, голубые водоросли и савояры с кобальтовыми лицами. Хоть бы встретить детей в рыбацком челноке! Но нет, Цезарь чувствовал, поиски закончились. «Если бы еще я женился на Гвен! – сказал он вслух. – Но Бланш! Не пойму, как это получилось. Может, надо было посвататься к глухой Лауре? Нет, я знаю, ни к кому не надо было, ради братьев, да?» Только плеск весел вместо ответа, Цезарь вернулся на берег, отпер дверь башни. Мадам, по-прежнему сидела на канопе и чистила ногти, тяжелая штора с каменными складками-изломами лежала у ее ног. Улисс притащился на костылях, Авраам играл на флейте, Изабель строила домик из картона и катушек.

– Бедная малышка Изабель, – сказала Мадам тихо, но внятно, как только Цезарь вошел. – Бедные, бедные, невинные дети!

Изабель подняла голову.

– Куклу возьми, а кукольный домик, думаю, придется оставить.

– Взять куда, мама? – встревожилась Изабель.

– Дядя Цезарь нас выгоняет, дитя мое.

Вечером Мадам чуть слышно, словно обращаясь к самой себе, пробормотала: «Я все же намереваюсь увезти спальный гарнитур», – и махнула сильной белой рукой в сторону кровати с колесиками.

– Но, милая, до этого еще не дошло...

– А до чего дошло?

– Не знаю, но мало ли что может случиться.

На следующий день Мадам заметила, как вздрогнул Цезарь при имени Бланш, и с той минуты, нарушив обет молчания, повторяла по любому поводу: «Бланш! Бланш!» Вечером на ее крик «Бланш» отозвалась озерная пена. Цезарь затыкал уши, прячась за оставшейся зеленой шторой. (Вторую штору украла посыльная в ту роковую ночь, когда умерла горлица). Не бывать свадьбе Цезаря, она расстроится в ближайшие дни, как свидания с Элси или с бабенкой из тира, минует, как любовь к Гвени и опасность, которую каждый високосный год представляли дочь инженера, племянница Тома, савоярки, бегущие через озеро по тающему льду.

– Эжен, – начала Мадам твердо на следующий день, – не пора ли снести беседку? Она того и гляди рухнет.

Мадам сменила дорожный костюм в клетку на старое зеленое платье с вышивкой тон в тон.

– Но, милая...

– Мы построим современную беседку из бетона, я уже вызвала архитектора.

И Мадам затеяла стройку. Да! собственными руками замешивала цемент и гасила известь. Потом занялась посадками, вырывала лопату у садовника, застывшего в глубокой задумчивости, и ставила огромную изуродованную шишками и мозолями ногу на заступ. Таскала с собой в ведерке семена, перемешанные в кучу в спешке и ярости, надо, черт возьми, сеять, сажать, строить. Эжен, тоскуя, стоял у нее за спиной с цветами, обернутыми влажной, кое-где порвавшейся газетой. «Когда зацветет Каролин Тестю, – думал он, – Цезарь уже будет женат». – «Женат! Неужели!» – вопила Мадам. Бланш может

заболеть скарлатиной или тифом, или свалиться в озеро, так и норвящее разбиться о стены их сумасшедшего дома; парк клином врезался в волны, и совсем рядом на террасе ел богатый торговец, таинственные голоса звали: «Йедерман», деревья замышляли заговор, который опять сорвется в ноябре. Бланш вполне могла стать его жертвой или попасть под поезд по пути к портнихе. «Почему вы не носите серый, мадмуазель Бланш, это ваш цвет, – говорила Мадам. – Здесь я установлю каменную горку с цветами, мне пришлют ее из Юры, с моей родины. Ах, отец меня предупреждал...» Эжен понуро брел за ней, полные пригоршни луковиц. Свободного времени у него было много, последним на виноградники с мотыгой на плече поднимался его прадед, дед, закутавшись в халат, уже читал Поупа и Теннисона у камина, где горели виноградные лозы, пока жена вышивала мелкими стежками обивку кресел в гостиной.

– Замок, – говорила Мадам вечером, брызжа слюной, – замок с одной башней – по-моему, смешно. Я прикажу заново отстроить вторую, точно такую, как у соседа Мелани, там, в их деревне на краю земли, вы поняли. Рыбаки еще приносят вазы из озера, но сколько это будет продолжаться, вот в чем вопрос? Замок с одной башней – карикатура.

Впрочем, вздохи другой, разрушенной, слышны по сей день, когда дует водер, вот, например, в июле, она вздохнула, и рыбаки понесли ощутимые потери. Бланш плакала, Цезарь не назначал дату свадьбы, отец-адвентист, испуганные глаза за очками, меря комнату широким журавлиным шагом: «Какой реванш? Что имел в виду дурак-коадьютор? Разве я не состоялся? У меня клиника, пациентки-баронессы? Вероятно, и другие люди

считают меня неудачником?» – дал понять Цезарю, что Бланш не намерена дольше ждать. «То есть... слишком долго...» и поспешил удалиться. Где они будут жить? Младший брат занял Дом Наверху, средний – замок. Пусть тогда выплатят его долю наличными. О! Это было бы просто прекрасно! «Поберегись!» Цезарь с тоской вдыхал запах серы, вина, дыма, поднимающийся над тем адским местом, где дети-сироты, воспитанники общины неуклюже, заваливаясь то влево, то вправо, катили по мосткам бочки. Из люков клубами валил желтоватый пар, дома, угрожающе сомкнув ряды по обеим сторонам деревенских улиц, дрожали в горячем воздухе. В тот вечер Цезарь греб на тусклый красноватый свет, разливавшийся на востоке. «Мама! Мама! Если бы это была Гвен, я бы еще понял, но Бланш!» – Цезаря трясло, словно в лихорадке. Неужели он посватался к Бланш? Итог один, кому-то из братьев придется скитаться по дорогам; безжалостные дети покинули свои земли, сотворение которых так и не было завершено, пошли по волнам, начали медленно погружаться в пучину. Зое, хрупкие косточки, укрытая плащом волос, Эжен, крупная бледная голова, Адольф с прищуренными глазками. Они спускались друг за другом, вот уже только поднятые вверх маленькие ручки видны над поверхностью, через несколько мгновений воды сомкнулись, дети исчезли. Один из тех мощных голосов, что раздаются на озере по ночам, произнес таинственное слово и смолк. Бланш мерила платья, портниха на коленях, с булавками во рту скептически оценивала результат. «Ох! Почему вы выбрали серый, мадмуазель Бланш? Лучше бы взяли оттенок лилии или розы, серый – цвет блондинок».

В пятницу Мадам наняла поденщиц для генеральной уборки, которую все откладывала из-за

неотложных дел в огороде и на стройке. Сняли занавески, яркий свет бил в окна. По коридору шел Цезарь в черном костюме. Куда это он с утра пораньше? «Вы, кажется, забыли, что завтра я женьюсь?» – сказал он, поравнявшись со стремянкой. Мадам неловко терла стекла большими белыми руками. Завтра! До завтра столько всего может случиться. Гроза, например, небо пожелтело, озеро наполнилось молниями, скоро на их виноградники обрушится град, проклятые виноградники – причина всех бед; скрюченные лозы, страшная голая земля... Цезарь вернулся с Эженом – как, он тоже в костюме? – Эжен попытался незаметно проскользнуть в спальню, пустую, без мебели.

– Эжен! – окликнула Мадам. – Откуда вы?

– Милая, – Эжен задрожал – хотя ей же надо время, чтобы спуститься – мы из загса, брак заключен... – и убежал в беседку, где запершись на ключ, просидел до вечера, стараясь не запачкать черный костюм.

Мадам с горем пополам слезла со стремянки: «Несите матрасы наверх, мебель тоже, в этом году обойдемся без уборки». Удивленные поденщицы, которых выпроводили через кухню во двор, разбрелись по домам, не солоно хлебавши. Адвентист предложил венчать молодых на лужайке, слуги богатых пациентов отлично подстригли и причесали траву граблями, но из опасения, что босая баронесса со своим отрядом может все испортить, церемонию решили перенести в деревенскую церковь. Цезарь с дрожью переступил порог, ожидая, что сейчас прямо на его глазах Бланш, молча с поднятыми руками погрузится в землю, как накануне вечером дети погрузились в озеро. Бланш откашлялась, поправила фату. «О! – с грустью думала портниха, подперев указательным пальцем щеку,

– белый цвет определенно не для мадмуазель Бланш». Адвентист, произнеся первую молитву, вдруг замолчал, уставился на стену, поднял руку, цокнул, как цапля, легкая улыбка осветила его лицо, он весь преобразился и стал почти прозрачным. Присутствующие украдкой обернулись – но нет, ничего, не сегодня. Рука, парившая в воздухе, тяжело опустилась на кафедру, голос окреп, жребий, который до поры до времени придерживала судьба, был брошен. Новобрачные бок о бок шли из церкви вдоль кладбищенской стены, вроде бы большой плоский камень, который Бланш давно присмотрела себе на могилу, треснул. Дети высыпали на улицу со школьного двора, стояли перешептывались, вдруг за поворотом появилось озеро, все вокруг потемнело, и на пару часов в середине лета наступила короткая осень, одна из тех, что полны мертвых листьев, мертвых женщин, кружащихся вихрем ветров.

– Знаете, – сказал Цезарь, – у нас будет лодка, «Даная».

– Но Цезарь, ведь ваш брат уже назвал так свою лодку?

Цезарь промолчал. Машина ехала через лес, Цезарь поднимал глаза, искал небо. Воздух был тих и спокоен, разрушенная башня, словно лебединое крыло, висела вдоль замка; на горизонте росло желтое облако. Но родственники Бланш, спустившиеся с высокогорных лугов, где произрастают либо лапчатые цветочки в пару сантиметров, либо растения ростом с негров-великанов, болтали без умолку, не боясь странной тишины, воцарившейся в природе. Гости расселись за столом, и вдруг за окном раздался топот приближающейся конницы, все стало желтым: скатерть, стаканы, разгоряченные лица.

– Град!

Цезарь вскочил, его остановили.

– Но ведь град, не будем же мы тут сидеть.

– Ты не можешь уйти, – сказал Эжен. – Угомнись, Цезарь. Думаешь, я не хочу побежать сейчас на виноградник? – Он держал Цезаря за руку крепкой братской хваткой.

– Ливень идет стороной. Может, Комбевальер или Лэ Гер уцелеют?

142

– Град, – брякнула Мадам. – Вот и град. Я знала. Я всегда права.

До этого момента она, как дикарка, не отвечала ни на чьи вопросы и смотрела на гостей исподлобья, не мигая и так пристально, что у тетушки невесты голова начала таять и быстро уменьшалась в размерах, будто восковой шар под лучами солнца. Чуть позже по некоторым признакам стало понятно, что Мадам собирается рассмеяться. О, Господи! окна на кухне разлетятся вдребезги, осколки ранят красную, лоснящуюся от пота кухарку, хлопчущую над огромной озерной форелью. Цезарь вздрогнет, увидев белую, как пена, рыбину на английском серебряном подносе! Окошки, глубокие амбразуры, защищавшие дом от озерных бурь, к счастью, были маленькие, стекло выпало только в кабинете: замазка в раме разохлась. У Мадам под ногой, изуродованной шишками и мозолями томилась в плену ящерица. «Маргерит, сядьте рядом». Маргерит трясло от ярости: не она, а Бланш первая вышла замуж. «Сядьте рядом, Маргерит, что за прелесть ваша Маргерит, цветок, самая красивая в семье... И юная», – прибавила она, понижая голос и косясь на невесту, согнувшуюся под тяжестью фаты. Цезарь сидел, перекинув руку через спинку стула, нет, не в этот вечер он возьмет «Данаю» и будет полчаса грести по водам заката, когда чистые, легкие ве-

тры гоняются друг за другом, то пускают по воде фиолетовую рябь, то взрывают озеро посередине, оставляя темно-синюю борозду. Мелани украдкой поглядывала на Цезаря и прижимала руки к колыхающейся груди. Напрасно Мадам зазывала в гости джентльмена-фермера. «Shall we go? – спросил он, поднимая к носу рыжие усы. – Но, дорогая, мы в сущности их не знаем. Конечно, у них есть этот пресловутый замок, но кто их мать?» Опрометчиво! Спустя неделю он умер, пчела, сидевшая на сливе, ужалила его в горло. Что касается художника, любителя сырых улиток, купавшегося гольшом в озере, и девицы из Индумеи, остолбеневшей при виде башни, они, повиснув на ограде клиники, радостными криками приветствовали свадьбу и смотрели в распахнутые настежь двери на праздничный стол, на служанок, наклонявшихся к гостям, на черные костюмы, которые вынашивают будущих пугал, как пауки вынашивают рисунок паутины. Тихие сумасшедшие в рабочих халатах бросили разгребать гравий на дорожке и прижались одутловатыми лицами к окнам.

143

– А когда же ваша свадьба, Зое? – усмехнулась Мадам.

Это были ее последние слова. Она притворилась спящей, хотя и продолжала сидеть на стуле очень прямо и обмахиваться огромной шляпой с боа из перьев, обмотанным вокруг тульи; время от времени она поднимала тяжелую руку замурованной пленницы и отгоняла назойливую муху от широкого лица. После грозы с озера и ельника, тянувшегося до самого берега, веяло теплом, еще одно чудо света. Но в лесу Цезарю детей точно не найти, ельник находился довольно далеко от Фредега, туда только на машине можно добраться, а разве, господи боже, такое случалось, чтобы четверем маленьким

страдальцам кто-нибудь дарил машину! На этот раз «Брэк» ездил от клиники до вокзала и обратно, молодожены отправились в путь первыми, Цезарь вытягивал шею, пытаясь разглядеть, какой ущерб нанес град, и, рискуя опоздать на поезд в Италию, остановил машину и спустился к виноградникам. В Милане Цезарь купил фотоаппарат, хотя денег на свадебное путешествие хватало в обрез. Где жить после возвращения? Позже, позже!

144

– Нет, не фотографируйте меня, я слишком некрасивая, лучше снимите собор, – мягко попросила Бланш.

И отошла от миланского портика; на ней было дорожное серое платье. Почему бы вам не носить серое, серый – ваш цвет. Но серый только блондинкам к лицу! Бланш кокетливо отвернулась от Цезаря и оперлась на красный зонтик.

– Нет, я не хочу на вас смотреть, я слишком некрасивая, я буду делать вид, что люблю собором.

Она никогда не спрашивала «куда мы идем?» Вечером в ресторане Цезарь, не решаясь поднять глаза от тарелки с морепродуктами, сказал: «Относительно нас, – он сосредоточенно покачал вилку на указательном пальце, – я не совсем представляю... Что нам делать? Фредег? Дом Наверху? Требовать мою долю наследства? Или может нам уехать за границу?» Она робко накрыла ладонью его руку.

– Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить, и твой Бог будет моим Богом. В общем-то, это не я, – прибавила она, краснея, – вы знаете, Цезарь, это в Библии...

Она убрала руку и отпила немного кьянти...

Вечером, после свадебного застолья, только Мадам удавалось сохранять хладнокровие. «Наше вино! Пусть сами пьют эту мерзость!» Мелани топила

горе на дне бокала: Цезарь рука об руку с другой! Наконец, они, уже довольно пьяные, вернулись во Фредег и собрались узким кругом в гостиной, три окна распахнуты в ночь. Невидимое озеро катило волны к берегу. Решили выпить еще, произносили тосты, стоя и громко чокаясь, Мадам на бархатном канале энергично чистила ногти и смотрела на всех с презрением: Крестьяне! Пьянчуги!

– Ну вот! Цезарь уехал. Кто бы мог подумать, что он женится!

– Я очень рад за него. Цезарь – наш брат, наш старший, – глаза Эжена увлажнились. – Разве это жизнь, скажите на милость, полгода здесь...

Он икнул, извинился. Адольф принес с кухни чайную ложку сахарной пудры: «Ну-ка, давай, мой маленький Эжен!»

– Конечно, если бы не вы, он бы вряд ли женился. Это целиком и полностью ваша заслуга, – Эжен энергично кивнул. – Но что вы теперь собираетесь делать?

Эжен пожал плечами: «Это наш брат, наш любимый братик».

Вдруг у них за спинами из глубины комнаты раздался голос Мадам.

– Пойдем, Эжен.

– Куда, милая?

Она встала, руки замурованной пленницы свесились по бокам. Мужчины кинулись искать шляпы.

– Пойдем, Эжен. Уже поздно.

Только пастор, не чувствуя опасности, продолжал говорить, слова со свистом вылетали между передними зубами, стершимися от проповедей.

– Что вы намерены делать после их возвращения? Если нужно мое посредничество, я с удовольствием.

Гости толкались в дверях, спеша поскорее выйти.

– О его возвращении и о разделе мы подумаем позже, – с расстановкой произнесла Мадам, – сегодня вечером у нас другие заботы. Эжен, ты куда?

– Но все уходят, милая, надо проводить.

– Сами найдут дорогу.

– Надо закрыть ворота.

– Неужели! Оставь все нараспашку. Пойдем, Эжен.

146 Ее голос доносился с лестницы, на пороге спальни она опять крикнула: «Пойдем, Эжен».

На следующий день Мадам опять ворочала чемоданы, пряди выбились из громадной снежной конструкции, к зеленой гипюровой блузке, прятавшей массивные плечи, прилипла паутина. Эжен остался в кровати. Мадам взобралась на башню и принялась стонать, да так, что в деревне было слышно. Домам казалось, что сейчас вновь прихлынут древние волны, когда-то накренившие их назад. В то лето погода выдалась странная: желтые тучи, грозы, озеро наполнилось молниями. «Это баронесса, – шептались деревенские жители, – что она задумала?»

– Пора съезжать, – вскоре объявила она Римам, обитателям свинарника, – теперь мы будем тут жить, да, мы, семья Эжена.

– Но ведь так далеко еще не зашло, – уверяла Эдит низким, глухим голосом, лиф блузки заколот иголкой с черной ниткой.

– А как далеко зашло, позвольте спросить?

И, не дожидаясь ответа, Мадам пошла прочь. Отовсюду ее гонят. Трясущимися руками она зачерпывала из кармана зерна и сеяла, потом вдруг принялась выдергивать с грядок овощи и зелень: «Черт возьми! ничего им не оставлю!» Она подстерегла возвращавшихся из школы и весело щечечущих детей и крикнула издали:

– Давайте, поторапливайтесь. Надо срочно собирать вещи.

Посыльная, дышавшая свежим воздухом у своего окна напротив ворот замка, осмелилась сделать Изабель замечание:

– Ты чешешься, Изабель, у тебя вши завелись? Смотри, будь осторожна, вши заплетут твои волосы в длинную косу, схватят тебя за нее и утащат в озеро.

Испуганная Изабель побежала наверх, в свою комнату, распахнула дверь и застала мать, паковавшую чемоданы.

– Где моя кукла?

– Я отдала ее Жибод, зачем тебе теперь кукла?

Если бы Цезарь видел Изабель и Авраама, плачущих перед пустыми шкапами, и Мадам, вздыхавшую у окна, он был бы очень доволен. Но он сейчас, кажется, в Риме: нет новостей, значит все в порядке. В тот день Бланш, красный зонтик в руке, свесившись через перила изгороди, окружавшей раскопки, упрямо отворачивалась от Цезаря. «Я подожду, – говорил он, – ты, в конце концов, обернешься». Она смеялась: «Нет! Нет! Я слишком некрасивая, фотографируй лучше гусей на Капитолии». Мой друг, моя жена! Как она смеется! Она не смеялась так прежде у своих адвентистов. Эта тоненькая, наклонившаяся фигурка, этот крутящийся зонтик! Ах! дети исчезли, ну и ладно; не хочу я больше встречаться в прихожей у старой кухни на втором этаже с Зое, траурный передник длиннее платья... У них за спиной раздавались крики, толпа спешила приветствовать Папу-юбиляра, сидевшего под опахалами из страусовых перьев. «Я слишком некрасивая», – повторяла Бланш, смеясь. Что же они так кричат, эти итальянцы?! Во Фредеге Мадам, вздыхавшая у окна, заметила спускавшуюся по дороге от вокзала повозку.

– А! вот и Адольфы, – сказала она умирающим голосом, поднося руки к высокой конструкции на голове. – Ты слышишь меня Эжен? Адольфы едут.

Жара была удушающая. Лошадь привязали у ворот, Мелани споткнулась о невидимое животное и ударилась бедром о спинку садовой скамейки.

148 – Ну! – начала Семирамида, поджидавшая их на бархатном канаве, – вот и вы. Стойте спокойно, Адольф, у меня голова кружится от вашего хождения взад-вперед, а ты, Эжен, принеси бутылку вина. Скоро мы разорим весь погреб, верно?.. Ну! давайте, говорите. Что будем делать?

– Но... о чем собственно речь? – спросил Адольф, держа на отлете лорнет, протертый уголком жилета. – Мы просто приехали вас проведать и на виноградники взглянуть. Это катастрофа, судя по слухам.

– О! Катастрофа... не надо преувеличивать. Комбевальер побито градом, но он точно восстановится в будущем году и...

– Замолчи, Эжен. Вечно вы с вашими виноградниками! Я вам ничего нового не скажу, вы и так знаете, что Цезарь, ваш старший брат, женился. Он сейчас в Италии. Свадебное путешествие! пфф...

– И что же?

– Что же?.. вы не понимаете? Молодые скоро вернуться, и где мы их поселим? В дровяном сарае?

– Но... здесь, разумеется, в замке просторно, хватит места для двух семей ...

– Где? где? – кричала она, задыхаясь от гнева. – Где тут, в этом бараке, место для двух семей? Ах! отец меня предупреждал!

Когда шел по тротуару рядом с фиакром. В общем-то, не таким уж и старым он был, как все теперь начинали понимать.

Мадам, орошая собеседников слюной, повторяла:

– Вы считаете, что в этом бараке есть место для двух семей? У нас дети! А жить на что? мы едва укладываемся, а в нынешнем году придется брать ипотеку. А! нет, все ясно, пора уступить Цезарю место. Теперь его очередь жить в замке. А нас он выгонит на улицу.

– Не будем судить, – мягко сказал Адольф, поправляя лорнет и оглядываясь.

– Ну, выгонит он или нас, или вас, – уточнила Мадам.

– Как?.. – закричал вдруг Адольф. – Нас?! О нас речь не идет. У нас уже есть Зое.

– А почему бы Цезарю не поселиться в Доме Наверху, позвольте поинтересоваться? Вам выбирать: обживать в хлеву или уехать в Америку.

– Как же так? Как же так? – твердил Адольф, задыхаясь. – Послушайте, он хочет жить только здесь, в замке.

– Ох! Оставьте меня в покое с вашим замком. И, кстати, могу вас заверить, ему не нужен Фредег, он мне всегда говорил, из-за башни, с которой связаны неприятные воспоминания, уж я не знаю какие. Нет, нет, он потребует Дом Наверху.

– И вы так спокойно рассуждаете, ничего не предпринимая, – визжал Адольф. – Давайте же что-нибудь делать, черт возьми!

– Адольф! – простонала Мелани.

– Ах! – шептала Мадам, больше не обращая ни на кого внимания и заламывая тяжелые руки замурованной пленницы. – Зачем я помешала ему жениться на Гвен, единственная дочь, из богатой семьи... Ты! Прекрати пить!

Эжен поставил было бутылку на пианино между портретом предполагаемых родителей Мадам и фотографией ее подруги по пансиону у окна, обвитого плющом. Но передумал, повернул обратно, мягко

ступая в ботинках с резиновой подошвой, и потихоньку налил себе стаканчик.

– Твоя вина тут тоже есть. Мсье занят разговорами с рыбаками или слушает, как виноделы наперебой его расхваливают. А что же его не хвалить? От сбора винограда он дает им два литра вместо одного, совершенно не думая о собственных детях, которые скоро уже разорятся из-за неурожаев. А Цезарь между тем прятался в конюшне. Что он там обдумывал, позвольте спросить?

150

На ком бы ему жениться, на той или на этой? О, он живет с ней, обнимает ее, они спят вместе в Италии. А я Италию никогда не увижу. Или увижу, но с Адольфом.

– Будь, что будет, – отважился заметить Эжен, стоявший у пианино, – последнее слово еще не сказано.

– О! – вздохнула Мадам, – конечно, столько всего может случиться, крушение поезда, бандиты, малярия. Да, надо положиться на Провидение!

Она пожалала массивными плечами, быстро почистила ногти и вдруг, запрокинув голову, принялась стонать: «А! я забыла, а! он вернется и выгонит меня из дома». Вскочила и, как сумасшедшая, выбежала вон; Эжен, с сожалением оставив недопитый стакан, поспешил за нею. Адольф прошелся по комнате, с рассеянным видом плеснул себе немного вина, скользнул невидящим взглядом по фотографии предполагаемых родителей Мадам. Хозяева не возвращались, в конце концов Адольф с Мелани уехали к себе в Дом Наверху, не попрощавшись. Деревенские жители, подглядывавшие в окна, видели, что они сидели в повозке плечом к плечу.

– Цезарь – каков мерзавец! – цедил Адольф.

– Не будем судить, – ответила Мелани.

– В погреб! – приказала Семирамида. – Как я раньше не додумалась! Я откупорю бочки! – Надо пойти за ней, надо помешать ей любой ценой, нельзя допустить, чтобы она открыла краны. – Вот самый большой бак, на двенадцать тысяч литров! – Разве она не знает, что бак уже много лет стоит пустой? – Пустой?! Ни капли не вытекло. А! каковы мерзавцы! Ладно, тогда откроем эти два, черт побери! – Я спущусь ночью, когда она уснет, и завинчу краны. – Ну же, пей, Эжен, не стесняйся, бери стакан! – Она ведь не пьет вина, презирает его, всегда презирала. – Давай, Эжен, пей! – О, Боже! а если она напьется, надо срочно вести ее наверх. – Две тысячи! Шесть тысяч! Девять с половиной тысяч! Полный пресс их проклятого вина! Год работы виноградарей насмарку! – Боже мой, она пьет, один стакан, второй, рука дрожит, половину выплеснула, жаль. Похоже, она открыла все бочки, вроде собралась уходить.

151

– Смотри, Эжен, – произнесла Мадам с нажимом, – я запираю погреб, кладу ключ в выемку в стене, и чтобы никто не смел его трогать, слышишь, Эжен. Я кладу ключ...

На лестнице он приобнял ее за талию; до чего же она огромная и тяжелая, целая планета! Мадам поправила шиньон: «Я спрятала ключ в выемке, вы чувствуете, вином пахнет, мне впервые нравится его запах. А почему, собственно, я иду спать, когда на дворе белый день? Лентяйкой я никогда не была».

Она вытянулась на своей кровати-катафалке, уперлась Эжену в живот каменными туфлями, он схватил ее ноги и крутанул, как колесо виноградного пресса. На следующее утро она не встала с постели, зачем? И стонала, отвернувшись к стенке. Изабель, Авраам и Улисс притаились в кладовке,

где хранились летние игрушки. Посыльная видела, как после полудня они понуро брели по улице, Жибод на пороге дома качала куклу Изабель. «Ты чешешься, Изабель, – шептали старухи, – будь осторожна, вши утащат тебя за косу в озеро». В тихом воздухе кружился желтый лист, дети фермера играли у садовой стены с маленькой кухонной плитой Улисса. Из спальни наверху доносились громкие стоны и причитания, голос Мадам звучал все ближе.

– Кажется, она встала с постели?

– Зовет тебя.

– Изабель! О! Моя бедная маленькая Изабель. Девочка опустила голову.

– Изабель! Где ты? О! у тебя больше нет тети! Милой тети Бланш, которую ты так любила! Где она? На небе, дитя мое!

– Что это с ней? – спрашивали друг друга испуганные деревенские жители. – Она получила телеграмму, с мадмуазель Бланш случилось несчастье. Боже мой, бедные родители! И бедная баронесса! Послушайте, как она кричит и рыдает: «О, о! Бланш! Я ее очень любила!»

– Моя дорогая, так и заболеть недолго. Выпей немного чаю.

После горячего чая Мадам принялась икать, оттолкнула чашку и опять застонала.

– Авраам, мой маленький, несчастный Авраам, ик, вот у тебя и нет больше, ик, тети, милой тети, ик, Бланш, которую ты очень любил, ик, которую мы все любили.

Бланш мертва! Эжен задумчиво грыз ноготь на мизинце.

– Ох, говорите, что хотите, ик, но у меня было предчувствие, когда она уезжала...

Фермерские дети в саду доедали жаркое за столиком-дощечкой, лежавшей на двух камнях, Луиза

мыла металлические тарелочки, был первый день отдыха после сбора винограда.

– Куда ты, милая?

Мадам, завернувшись в черный шелковый плащ, водрузив на голову шляпу а ля Мария Стюарт, спустилась с лестницы, крепко сжимая золотую ручку зонтика.

– Но, милая, куда ты собралась? Ты только что пережила страшное потрясение.

Он разве не прочел? тут в телеграмме: «предупредите родителей».

– И ты пойдешь?

– Ну что, идем? – выдохнула крылатая лошадь у затылка Бланш. Толпа кричала так пронзительно, что Цезарь, наконец, обернулся, над ним, словно гора, возвышался ярко-красный автокар; Цезарь отпрыгнул, раздался треск, зверь мордой уперся в спину Бланш, прижал ее к перилам, решетка поддалась вперед и повисла над пропастью с покалеченным телом, насаженным на прутья.

– Не ходи туда, – умолял Эжен, – они уже, наверное, все знают.

– Не прикидывайся идиотом. Откуда им знать? – кричала Мадам, подбирая подол платья и стараясь увернуться от Эжена, – оставь меня, тут каждая минута на счету.

Мадам торопилась, но было жарко, громоздкие траурные одежды мешали идти, к тому же она потеряла несколько драгоценных минут, пока отбирала у фермерских детей кухонную плитку Улисса и засовывала ее повыше на балку беседки, чтобы те не достали. Одна металлическая тарелочка укатилась в нижнюю часть сада, больше ничего не осталось фермерским детям от короткого счастья в первый день отдыха после сбора винограда! (Что касается куклы, Мадам не сразу удалось отнять ее,

Жибод сопротивлялась, Мадам вернулась домой в задумчивости, с кровавой царапиной на щеке). Увы! она слишком поздно пришла в клинику, лицо в поту, тяжелый зонт болтался на запястье, хозяева заперлись в спальне, ее не пустили. А ведь еще днем они, наверняка, радовались и любовались золотисто-синим озером и пожелтевшими по осени вязами. Все кончено! Бланш! Бланш! Цезарь вез обратно покойницу. Мыслимо ли это! В тот момент, когда она стала его другом, сообщником, единственным существом... Он смотрел в окно вагона на отступающие в ночь леса и поля и бесконечные телеграфные столбы, перехваченные проводами при попытке к бегству. «Непонятно, где спят стрижи, они покидают землю около двух часов ночи и стайкой улетают за облака...» Боже мой! Бланш! «Непонятно, где спят стрижи, они покидают землю около двух часов ночи и стайкой улетают за облака... непонятно...» На вокзале, опираясь на жену, стоял постаревший адвентист. И Мадам, придерживавшая шляпу а ля Мария Стюарт с длинной траурной вуалью.

– Во Фредег, – велел Цезарь и, покраснев, добавил, – это ближе.

Носильщики тронулись в путь, кто-то бросил на черное сукно мелкоцветные розочки, сорванные мимоходом в саду. Гроб поставили на два бархатных стула, Цезарь смотрел на озеро и чаек, резкими криками возвещавших наступление осени.

– Цезарь, – вошла Мадам, и в комнате потянуло ледяным сквозняком, – поверьте, Цезарь...

Цезарь обернулся, нет, он не ошибся, Мадам не могла скрыть легкой усмешки, Цезарь видел мутный зуб водолаза, и все последующие дни, даже во время отпевания, сложив под черной накидкой толстые белые пальцы замурованной пленницы,

Мадам не переставала скалиться. Мадам сидела на канаве и рассеянно чистила ногти, Цезарь неподвижно стоял у гроба.

– Поверьте, Цезарь, если бы что-то можно было изменить... Нет, правда, я чувствую, что разлюбила замок.

Она брызнула слюной.

– Вы бы поселились здесь, Цезарь, с... – и она указала подбородком на черное сукно. – А я... мне больше ничего не надо. Ах! я ей даже завидую, умереть молодой. Да, она была молода и хороша собой. Да, да, я считала ее милой, светлые пушистые волосы, на отца похожа, особенно в профиль. Подумать только, еще месяц назад она гостила здесь, смотрела в это окно, я с ней разговаривала, я... Тело, в самом деле, сильно изуродовано? И если... Да, подобные случаи и раньше происходили. Она, наверное, умерла сразу от одного удара. Так было бы лучше...

155

Мадам снова кивнула подбородком на гроб. Цезарь развернулся и направился к канаве.

– Нет, Цезарь, оставим! я ничего не говорила, нет, нет, Цезарь! Сумасшедший, вы меня задушите, не шутите так, Цезарь.

И Цезарь опять отпустил Мадам; тяжелые, как он и предполагал, руки замурованной пленницы свесились по бокам; встал у гроба и ни на что больше не обращал внимания, какая ему разница, вышла Мадам из гостиной или, снова усевшись на канаве, вычищала грязь из-под ногтей. Если на следующий день Цезарь и не решился пригласить Мадам на рыбалку, загодя вынув доску из днища «Данаи», и утопить ее, то только потому, что сам боялся утонуть, кто же тогда найдет детей на песчаном берегу? После смерти Бланш дети вернулись, еще более надоедливые, чем прежде, за ними,

гогоча, летел огромный лебедь с оранжевым сплюснутым клювом. Пусть Цезарю не удалось заколоть вилами, задушить, утопить, убить Мадам и Авраама, тот, упав с карниза, вскоре воскрес, а во время грозы на озере его подобрала спасательная лодка и живым и здоровым доставила домой, Улисс, младший, с веснушками на бледном квадратном лице и зелеными соплями под носом, за всех ответит. Наступала суровая зима, меняя плохой, с дождями и градом год, надолго запомнившийся виноделам (на некоторых виноградниках даже не собирали урожай), на новый. Мало винограда, мало орехов. На орешниках только листва выросла, как в том году, когда наследник Дома Наверху, младший великан, стремительно летел вниз, ломая ветки. Под деревом находился резервуар, каменный куб с металлическим щитом, на нем удобно было колоть краденые орехи, об резервуар-то и разбил голову младший великан, и дети, его прежние жертвы, унаследовали Дом Наверху. Во Фредеге решили утеплить окна, Эжен в саду мастерил затычки для щелей. В октябре выпал снег, никто не осмелился сказать Цезарю, что ему давно пора в Дом Наверху. Иностранец, закутавшись в шубу, отправился на вокзал в санях с лебединой шеей, которые тихой, ровной рысцой везла лошадь, и все удивлялся, почему больше не слышно глухих ударов волн о берег. Озеро замерзло, застыли вздыбленные волны, деревенские дети, лазавшие с радостными криками по ледяным гребням, видели, как савояры покинули дома и двинулись к деревне, и лица их, издали отливавшие синевой, постепенно приобрели естественный цвет. Даже герцогиня Турронд выползла из своего огромного замка.

– Эжен! Очнись! Где опять твой брат? Я знаю, он на озере с этими савоярами.

Теперь на озере не ветры прокладывали дороги, а ноги, и старая лодка Рима, застигнутая морозами врасплох, навечно воткнулась носом в дно. Амели, прачка, спускалась покормить попавших в ледяной плен чаек, портнихи выносили кувшины с горячим чаем, вся деревня ходила по водам. Еще были живы люди с белой кожей и красными, как у стариков глазами. «It's great fun», – снизошел джентльмен-фермер. Регентша, в душе отрицавшая мать-прачку, ответила, что да, сегодня озеро пользуется особой популярностью. Гольфстрим, протекавший за гребнями волн, вырезал во льду темный квадрат. А вот и Улисс нарядный, с зелеными соплями под носом, с фиолетовыми от мороза лапками, другие, шерстяные, пришитые к веревке, свисают из рукавов.

– Дядя Цезарь!

Цезарь схватил Улисса за шею, детская цыплячья шейка – огромная ледяная волна скрывала их от толпы – и силой пригнул к черной воде, но Улисс, как кошка, уцепился за края полыньи.

– Дядя Цезарь!

Жалобный вопль растаял вдали. Дядя Цезарь вдруг отпустил Улисса и велел не кричать, это игра, дядя Цезарь просто хотел его напугать. Посыльная вскарабкалась на вершину волны и, наблюдая за ними, беззвучно тряслась от смеха, на ней было то самое платье из зеленого репса, который никто, кроме Цезаря, похоже, не узнавал. Ха! пусть забирает мою занавеску! Пусть отныне между озером и мной не останется никаких преград, только рыбацкие сети, что сушатся на песчаном берегу. Пусть смертельно бледный Улисс, вырвавшись, бежит между ледяными волнами. Посыльная, нос куриным клювом, лысый череп старого судьи, не менявшаяся с той роковой ночи, когда украла приданое мертвого младенца, чуть было не вмерзла в лед, как чайка.

Потом подул фен, деревня бросилась к берегу, несколько савяров утонули. На следующий день пошел снег, тяжелые снежные птицы бесшумно падали с веток. Улисс, вернувшись из школы, взял палочку для серсо, валяющуюся на сундуке в коридоре, уронил ее, так синичка выпустит вдруг из клювика ольховый листок, и не смог поднять, потому что палочка уже укатилась за тысячу лье. Улисс кое-как добрал до своей комнаты, лег в кровать, толстые грязные ручки натянули одеяло до подбородка. Они с Авраамом мылись в эмалированном тазике и выплескивали воду в окошко на грядки. Спустя час Улисс уже не мог откинуть надоедливую челку, лезущую в глаза. Улисса повезли в больницу, Цезарь, доставив пять тысяч литров вина покупателю в Юру, возвращался во Фредег и столкнулся с печальным кортежем, когда тот повернул на улицу с домами, накренившимися назад под ударами древних волн. Собака, трусившая через дорогу к больнице, забежала во двор, выскочила обратно и понеслась прочь так быстро, что никто не успел понять, Фаро это, черный сеттер с рыжими подпалинами, клавший квадратную голову Улиссу на колени, исцарапанные кедровыми ветками, где все лето дети строили хижину, или нет. Улисс больше никогда не залезет на кедр, но грести немножко сможет, если Цезарь, проникшись любовью и состраданием, заботливо возьмет его на руки и усадит в лодку. Мадам две недели делала Улиссу массаж.

– Я буду массировать его каждое утро, – пообещал Эжен.

– Да, да, Эжен.

Еще Улисс вполне сгодился бы на то, чтобы считать ящички с виноградом или срезать маковые коробочки. Раньше дети неделями, месяцами наблюдали за огромным розовым маком, распускав-

шимся на уровне их глаз. Дети... Цезарь скоро их догонит, сомнений нет. Сейчас дети гораздо ближе, чем после свадьбы Эжена, предзнаменованной появлением проклятого фиакра, ближе, чем за все десять походов Цезаря туда и обратно, отмечавших равенство и солнцестояние, между Домом Наверху и Фредегом, где он орал в конюшне и кидал об пол вилы; Эмиль, воспитанник общины, вжавшись в стену, загоразивал лицо от побоев жалкой фиолетовой рукой и при первой возможности, если удавалось прошмыгнуть под брюхом лошади, выскакивал за дверь и, укрывшись в сырой каморке, где кишмя кишели ухвертки, мешал темную жижу в треснутой банке из-под варенья. Почти в то же самое время, когда одежда чучела, свадебный костюм, побитый молью, занимает место в шкафу Фредега, и пуговицы пиджака, похожие на панцирь майских жуков, обрастают тканью и новехонькими выходят из-под земли, на мостовую выезжает проклятый фиакр. Сколько раз потом в воспоминаниях Эжена и Цезаря этот фиакр, покачиваясь, проедет мимо.

Два брата, сейчас уже никто не скажет, что их привело на несколько дней в город часовщиков, увидели фиакр, который, приседая на рессорах, медленно со скрипом катил по заснеженному тротуару. Рядом, держа в своей руке протянутую из окошка руку в белой лайковой перчатке, шагал степенный старик. Цезарь надушился ландышем, водрузил цилиндр на рыжую шевелюру. Деревья на подъездной дороге казались огромными, вдалеке в густом тумане мерцали огни дома, где устраивали бал.

*Когда все кончено, – напевал Эжен, –
И умерла прекрасная мечта,
Вдруг появляется повозка. И кто же там?
Кто протягивает ручку своему папа?*

*Это – чудесная девушка,
Тра-ла-ла, ожила чудесная мечта.*

160 Цезарь и Эжен затагнули потуже галстуки, узкие, черные, как у служащих похоронного бюро. Фиакр остановился, юная особа в пышном, с рюшами и оборками, платье с трудом выбралась наружу, так вот почему отец, провожавший ее на бал, всю дорогу шел пешком, не выпуская протянутую из окошка фиакра руку, чтобы не отстать. Бюст, поднимавшийся по лестнице перед Эженом и Цезарем, утонул в белом цветочном венчике. Другие бюсты сидели в ряд на стульях вдоль стены, и крупные руки, спрятанные под белыми лайковыми перчатками, бесшумно обмахивали их веером. Черные костюмы, вынашивающие будущих пугал для виноградников, цилиндр, раскинутые руки распятого, спешили к дверям бальной залы.

– Как ты думаешь, вон там случайно не особа из фиакра?

Девушка из фиакра. Выпуклый узкий лоб, большие серые глаза. Цезарь, надушенный ландышем, и Эжен, розовое, пышущее здоровьем лицо, с равнодушным видом покинули свой наблюдательный пункт и заскользили вперед по паркету, красные, еще мальчишеские руки торчали из черных рукавов.

– Цезарь! Дитя мое! Что ты тут делаешь? Сто лет тебя не видел.

Старик-крестный! Двадцать два года назад он склонил над новорожденным бледную, огромную и легкую, как яичная скорлупа, голову. Младенец с недовольным видом смотрел в потолок и тряс невесомыми, легче воздуха, красными кулачками.

– Крестный... да... вы знаете...

Эжен удалялся, пересекал просторы навощенно-го паркета, кланялся девушке из фиакра, приглашал

на танец. В ее больших серых глазах отражался свет газовых ламп. Какая же она высокая и крепкая. Потом она, не снимая белых перчаток, ела пирожное. А Цезарю встретился на пути крестный, свалившийся с луны, огромная, хрупкая, словно яичная скорлупа, голова. Газ заканчивался, калильная сетка покрылась копотью по краям, девушка ушла под руку с отцом, теплый пар ото ртов и губ рисовал картуши в густом тумане. Эжен так толком никогда и не смог себе ответить, почему на следующий день ему взбрело в голову жениться на девушке с бала. Может, фиакр с огромными колесами, катившийся по скрипучему снегу, и рука в белой кожаной перчатке произвели на него какое-то особенное впечатление; он представил внутри фиакра большой белый венчик, в середине венчика ноги, обтянутые плотными шелковыми чулками с подвязкой над коленками. «А если я попрошу эту девушку выйти за меня», – думал он утром, выливая в тазик воду из фарфорового кремового с розами кувшина. «А если я опять встречу крестного», – думал Цезарь, лежа в постели. Туман рассеялся, часовщики, забыв лупу на лбу, день был воскресный, высунулись из окон, девушка в светло-бежевом клетчатом платье, крупные, сильные руки в хлопковых перчатках, собралась полить аспидистру, напрасно пытавшуюся сбежать через слишком узкое, зимы-то суровые, окно. Эжен сообщил, что владеет замком на берегу озера, и, не переставая задаваться вопросом «что я здесь делаю?», принялся рассказывать о крестном. «Как? Господин Ансельм?» – воскликнули они. Он с явным удовольствием кивнул. О свадьбе договорились быстро, тут и замок сыграл свою роль, и родство с господином Ансельмом, конечно. Все так легко и просто, словно никогда больше не будет ни голода, ни чумы, ни,

разумеется, войн, и последний урожай, кстати, принес под прессом сто тысяч литров. По тридцать сантимов за литр – две тысячи франков наличными, имея такую сумму, простительно жениться в одночасье. Однако отец Семирамиды до самой смерти, впрочем, случившейся очень скоро, пребывал в некоем замешательстве, причину которого Эжен понял не сразу; в агонии тесть махал перед лицом отяжелевшей рукой умирающего, пытаясь отогнать, уничтожить, сломить – ...твердый, нестигаемый взгляд. Цезарь, вернувшись во Фредег, в первый раз избил в конюшне мальчишку-слугу. Потом слонялся по террасе, припорошенной снегом; снег в этом краю лежит недолго, ровно день, пока празднуют свадьбу.

– А ты, мой Цезарь, – спросил крестный, голова качается вправо, влево, как огромное пустое яйцо, – когда твоя очередь?

– О! Цезарь у нас убежденный холостяк.

Но крестный не унимался.

– Вы поселитесь здесь, во Фредеге, решено, а он бы тогда мог взять Дом Наверху.

– А я? – воскликнул Адольф, младший.

– О! я, – пробормотал Цезарь, – я никогда не женюсь.

– И будешь прав, – вдруг хрипло рявкнул жених.

– Ты прав, – поддержал крестный, – женщины ... – и подмигнул воспаленным, без ресниц глазом. – «Господи, закройте, закройте двери! – сквозняк чуть не сорвал с плеч огромную легкую голову. – Какая неосмотрительность, это все молодые!» Эжен с Семирамидой отправились в спальню. На следующий день Цезарь, облокотившись на подоконник, смотрел в окно башни на одинаковые крыши-равнины, а потом на залив, к берегу медленно, опустив паруса, причаливали лодки из Мейлери.

Сверху казалось, что Эжен, гулявший вдоль берега, заложив руки за спину, съежился. Через полчаса Мадам поднялась в вагон, подножка под ее весом прогнулась, виноградари видели, что в купе она, спина прямая, села на резиновую подстилку; в ее семье в чемодан молодой супруги, отправлявшейся в свадебное путешествие, всегда клали резиновую подстилку.

«Я увидел ее на балу, – рассказывал Эжен, черный костюм, здоровый розовый цвет лица, школьному товарищу, с которым случайно столкнулся в узком коридоре поезда, – на следующий день посватался; я подумал: «Почему бы и нет?» Год был хороший: сто тысяч литров; по тридцать сантимов за литр. А у вас, кстати, как? И мне ее сразу отдали... К несчастью...» – помолчав немного, прибавил он, впрочем, произнес ли он это вслух или про себя, осталось тайной. На заре Мадам и Эжен сели в гондолу у подножья лестницы напротив розового дворца; над площадью Сан-Марко, где он купил ей коралловые бусы и где прогуливались толпы туристов, стоял неясный гул голосов, как в зале перед спектаклем. «Я увидел Семирамиду на ее первом балу; выпуклый лоб, толстые темные косы, большие серые глаза, в которых отражался свет газовых ламп, белые кожаные перчатки в обликпу». Увы! ему тогда было всего двадцать лет. Повозка ехала вдоль тротуара, присыпанного сахарной пудрой, отец держал за руку таинственную незнакомку. «Я посватался, и мне ее сразу отдали». Она стояла на берегу в клетчатой дорожной накидке и, опершись о картонную скалу, задумчиво смотрела на волны, позади нее молодой супруг качался с пятки на носок и вытягивал шею, чтобы увидеть море. Посольский атташе, пока не знавший о существовании Мадам, обходил своих исполщиков;

в большой кухне, увешанной початками кукурузы, итальянка кормила *bambino* с черным от мух лицом.

– Ну что, идем? – выдохнула лошадь в затылок Цезарю. Он получал знаки, слышал голоса, вздрагивал от резкого звука труб: дети! – скорее вдогонку, но на улице возле домов, накренившихся под ударами древних волн, никого не было, только стебель тыквы валялся в пыли. Эх! Настанет однажды тот день, когда Цезарь поднимет с земли зеленую трубу и найдет прежних детей, радостных и светлых; после женитьбы Эжена на девушке из фиакра будущее медленно закрыло перед ним двери. Эжен с женой займет Фредег. А Дом Наверху с его землями, сдававшиеся в аренду после смерти великанов? Ладно! Адольф. Адольф их возьмет, это будет его доля. А Цезарь? О! Цезарь – закоренелый холостяк. Бродяга, бездомный искал прибежища на ферме, слушал, как растекается навоз из темного кострища, тлеющего в самом сердце всех поместий. Цезаря-висельника – сколько раз Мадам накидывала ему петлю на шею, сколько раз распинала его, а потом, отступив на шаг, любовалась содеянным, склоняя к плечу огромную, как шар земной, голову – больше не интересовало ни настоящее, ни будущее. Он сидел и смотрел на свое отражение в черной навозной жиже: рыжая шевелюра нежно прижималась к юбке из серых перьев. Отяжелев от тысячи воспоминаний, от которых другие постепенно избавляются, не желая, как старьевщики, хранить на всякий случай что попало, он, пошатываясь, выходил из конюшни, путал восток и запад, время и пространство.

– Он пьет. О! этот человек пьет! О! Цезарь – мой крест.

Что бы он ни делал, ни один его поступок, похоже, не способен изменить этот мир. Он, в сущно-

сти, только и ждал беды, появления Вот-Вот на дороге от вокзала, отъезда Гвен с Фрицем, встречу с крестным в дверях бальной залы и смерть Бланш. Что теперь мешает бродяге, обиженному судьбой, отправиться со свадьбы Эжена в туманную страну детей, покинуть этот отрезок времени, точно так же, как покидают отрезок пространства, предпочесть вертикальное падение вечному движению по горизонтали? Разумеется, подобная система координат сугубо индивидуальна, это, так сказать, личные отношения Цезаря со вселенной.

165

«Ну! полюбуйте, он вышел из конюшни. Еле на ногах держится. Все женихи Изабель...»

Слова Мадам, рождавшиеся в большой пустой голове, особого смысла не имели; прав он, Цезарь; потому что можно с одинаковой легкостью сосчитать от ста до единицы и от единицы до ста, и разве озеро иногда, в жаркие августовские дни, не поворачивается к устью Роны, слегка меняя угол наклона? То есть вполне естественно было начать историю с последнего жениха Изабель, уроженца Ури, золотое кольцо в левом ухе, и идти мимо событий, по краю жизни, подобно ребенку, которого взрослые, рассуждая о времени, расписаниях, шерстяных кальсонах, незаметно подталкивали к песчаной полосе, неотделенной от вод. Мадам, еле передвигая ноги в тяжелых, покореженных шишками и мозолями туфлях, рассуждала о гигиене, архитектуре, логарифмах, заманивала в дом женихов для Изабель, большинство из которых сбегало после ее досмотра в девственные джунгли, и время от времени соблаговольяла прогуляться по голубым садам, висевшим перед окнами. Намечалась свадьба Мелани, Зое грела пальцы с непомерно отросшими ногтями у изумрудной печки, Эжен с Мадам уехали в Италию, в поезде Мадам

по совету своей несчастной матери сидела на резиновой подстилке. Последняя преграда устранена – Эжен женился – и Цезарь, наконец, отправился на поиски детей. Они же не умерли, иначе все бы об этом знали. Он не станет искать их у Дома Наверху, на аллее, по которой весело скрипя колесами спускался «Брэк», полосатые белые с красным занавески трепыхались на ветру, словно флажки в праздничное утро. Дети смотрели машине вслед; Зое держала за руку куклу, траурный передник длиннее платья, черные хлопчатобумажные чулки сползли гармошкой на грубые туфли с железным носком, гости из Франш-Конте до крови щипали детей за уши:

«Хе, вот и они, маленькие невежи. Пойдем, пойдем, Матильда, нас ждать не будут».

Иногда старший великан, засучив рукава, резал детей на куски и кидал в большую кадку для засолки мяса, стоявшую у лестницы старой кухни. Или сажал Эжена на воз с сеном, и угодливые слуги, смеясь, наставляли на мальчика вилы. После смерти горлицы единственными друзьями Эжена были розовый эспарцет, сено, нашептывающее тысячу прекрасных, таинственных слов, и сеттер, который клал на лапы курносую морду и вздыхал: «Ох, малыш». Траурный передник Эжена смутил одну гостью: она-то после смерти матери два дня смеялась, да так, что не могла натянуть розовую подвязку на толстую ляжку. По вечерам, пока великаны отдыхали на террасе, дети ходили вокруг дома, дули в трубы, искали звук, близкий, вражеский, такой, что описан у Тома Тита в «Научных забавах» и способен разнести дом вдребезги, словно хрустальный бокал. Они шли по деревне, держась за руки, разгоряченные, похожие на маленьких шмелей; стоя между корней деревьев, они, склонив

голову набок, видели огромные лица великанов, маячившие у кромки крыши. Конечно, детям ничего не оставалось, только бежать из Дома Наверху, скитаться по берегу, по землям, неотделимым от вод, бродить вдоль домов, хранивших память древних волн. «В конце концов, даже если я их не найду, – думал Цезарь, – ничто в этом странном тумане не помешает мне повернуть обратно и потом, черт возьми, пригласить Мадам на рыбалку».

– Неужели, Цезарь, вы приглашаете меня? Вам не кажется, что погода...

167

И необыкновенно довольная она залезла в лодку, лорнет был надежно пристегнут к могучей груди, тяжелая рука прижимала шляпу а ля Мария Стюарт. Шляпа сгинула первой, ее унес грозовой ветер; после шляпы, поскольку Мадам кувыркалась в волнах со спины на живот, настала очередь бюстгальтера, потом пропал один из белых пальцев, которыми она так гордилась, потом корсет, позже дети нашли его на волнистом песке между ржавой рессорой и желтым ботинком джентльмена-фермера. Директор стекольной фабрики наблюдал с башни, украшенной фарфоровыми изоляторами, как Цезарь топит Мадам и затем задумчиво гребет к берегу; под носом лодки вода расходилась треугольником, похожим на птичий клин. Конечно, Цезарь мог бы застрелить Мадам из армейской винтовки, иногда ради забавы он клал на окно конюшни ольховую палку с аккуратной срезанной по спирали корой. Белла, громко стуча копытами по дощатому полу, отшатнулась: по аллее шла Мадам, следом за ней, роняя из промокшей газеты чернозем, Эжен с пеларгонией. «Идиот», – проворчала Мадам, раздавив плевков туфлей, изуродованной шишками и мозолями. Что это задумал Цезарь? Нет, честное слово, он целится в нас из армейской

винтовки. В меня? В брата? в своего маленького Эжена? Эжен отскочил в сторону и спрятался в беседке, та-та-та-та, Мадам рухнула замертво. Цезарь смеялся в одиночестве и вдруг снова становился серьезным: а что если в этом краю, где все плотнее сгущается туман, где он, Цезарь, бродит, спотыкаясь о кучи отбросов, обломков, напрасных попыток, есть опасность рядом с детьми встретить отвратительного младшего великана? Любопытно: из помутненной памяти Цезаря ускользал тот факт, что младший великан упал с орешника и расколол голову о камень резервуара, что после кремации от него осталась горстка пепла, которую мать пересыпала в атласный мешочек и носила с собой в ридикюле.

А дети продолжали жить и пользоваться всеми привилегиями, полагающимися сиротам. Почетное место в первом ряду на детских праздниках. Вереницы сирот. Даже на земле, залитой стальным светом – Цезарь вернется сюда *когда захочет* – глаз камеры выхватывал банды, орды детей, под мостами Рима, на площадях СССР, на берегу озер и морей, зажатых, стиснутых между войнами, и лебеди, глупые, деловитые, подкидывая рыбу оранжевыми сплюснутыми клювами, прокладывали себе дорогу сквозь грозные толпы маленьких дикарей. Но взрослые закрывали глаза, затыкали уши, лишь бы ничего не видеть и не слышать, переезжали с места на место, подальше от родного дома, где, не дай бог, вечером можно встретить детей, спускающихся по деревянной лестнице, куда свет попадал лишь из вентиляционного окошка старой кухни. Между тем туман сгустился так сильно, что хоть ножом режь, смелый бродяга попытался повернуть назад, но время, растянувшееся, словно тугая резинка, безжалостно хлестнуло его по лицу,

кровь потекла на одежду, на ужасный широкий серый плащ. Будьте осторожны, если вы решили сойти с твердой почвы! Но именно там, за ее пределами, и находится страна детей. Небо низко стелилось над прямоугольным миром, дети поднимали руки и касались небесного свода, смотрели через стеклышки на неподвижное солнце, ловили солнечный луч и выжигали свои имена на клеенчатой тетрадной обложке. Розовый мак круглый год распускался у них на глазах, в сердце земли – в сердце земли? – не было ни весны, ни осени, только лето – лазурная полоска в приоткрытых ставнях. Адольф, сидевший на ночном горшке, вдруг взмахнул короткими крылышками, вылетел в эту сверкающую щель и опустился на карниз, тут-то Цезарь его и заметил. Адольф! Адольф! Не отвечает. Вокруг Цезаря в мгновение ока выросли стены, со дна каменного колодца он смотрел на сияющие в вышине звезды: «Черт возьми, наверное, дети все время были рядом, невидимые, словно звезды днем?» И опять Цезарю вспомнилось апрельское небо с синими окнами и летящими ангелами, туман опустился еще ниже, навигация остановилась, в полумраке белели паруса, призрачные треугольные башни. Цезарь пытался резать туман военным ножом, складной нож сломался в тот день, когда они с Бланш решили сэкономить и ели булочки и сардины на скамейке Пинчио. Черт побери, он же землю принял за густой, непролазный туман! Цезарь хотел было вытащить часы-луковицу, но в жилетный карман уже набилась земля. Отец выиграл их на кантональном празднике стрелков в 1887 году и много раз рассказывал о том дне Цезарю. Собиралась гроза, солнце лило стальные лучи на праздничную площадь, Нью Дроз в цилиндре выкрикивал какие-то лозунги с трибуны и воздевал

к небу руки, по локоть красные от крови, часы-призы бешено тикали на огромной стене из малинового бархата, с каждым выстрелом на воздух, как спички, взлетали новые мертвецы. Земля! Земля! Цезарь подумал о толстом добряке Жюле, которому говорил запросто: «Ох! ты так и будешь пить до скончания времен», забыв про второго коня, про конец пространств; был октябрьский вечер, за торжественной процессией, ввозившей вино, закрыли ворота, у зайца, подвешенного за задние лапы на постоялом дворе с морды капала кровь. Жалели Цезарь о своем безрассудном поступке? О чем жалеть, ныряя вниз головой в черные сады Семирамиды? Сожалеет ли лисица о воздухе и небе? Только не надо думать, что для бродяги, нашедшего пристанище, времена года больше не существуют. Когда-то его отлучки и возвращения отмечали дни солнцестояния и равноденствия. А теперь: «Черт возьми, – полон рот земли, – наверное, это апрель, эрантис хиемилис пустился в рост, а, может, июль, и ранняя роза скоро созреет». С детьми он, похоже, разминулся в тумане, только Адольфа успел заметить на карнизе. Но Цезарь уже ни о чем не тревожился, его охватило восхитительное спокойствие, какое блаженство плыть медленно, никуда не торопясь, между каждым его движением проходили недели, месяцы, кровь, конечно, уже не текла на серый плащ, широкий и очень удобный. Иногда влага указывала Цезарю, что он плывет под озером, иногда, уже на обратном пути к Фредегу, ему встречались белые фиалки, крот, корни вереска, зеленые монеты, огромные розовые муравьи и лозы, как лемех, бороздившие землю виноградников, пронизанную светом и молниями.

Примечания

Стр. 11 *водер* – сильный южный ветер.

Стр. 12 *кантон Ури* – немецкоязычный кантон в центральной Швейцарии. Один из трех кантонов, заключивших в 1291 году т.н. «Клятвенный союз», ставший началом швейцарского государства.

171

спускалась Рёйс – Рёйс (Reuss) – четвертая по величине река Швейцарии. Бурным потоком протекает через пять центральных кантонов; в кантоне Ури Рёйс проходит по горным долинам и ущельям, обрамленным отвесными гранитными скалами.

Стр. 13 ..., *ага?* – обыгрывается привычка жителей кантона Цюрих, добавлять в конце каждого предложения слово «gell?» (шв. нем. «ага»).

Стр. 18 *Мешасебе* – индейское название реки Миссисипи. Здесь, скорее всего, употреблено в смысле «большая река» вообще.

кресла в стиле Людовика XIII – стиль мебели конца XVI – середины XVII в. Такая мебель отличается массивностью, которая сочетается с аскетично строгими геометрическими формами и структурой, и при этом довольно удобна.

Стр. 20 *деревянная шкатулка для марок* – в Швейцарии в начале XX века ценились почтовые марки с конвертов писем миссионеров из Африки. Марки аккуратно вырезали и хранили в шкатулках.

Анатоль Франс (1844–1924) – французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1921).

Стр. 21 *with gusto* – англ. с энтузиазмом.

Стр. 24 *почему он не заставляет тебя читать «Таис»* – «Таис» (1890) – популярный роман Анатоля Франса, история римской куртизанки, ставшей святой. Фабрикант яичного ликера, по видимости, является страстным поклонником этого романа.

172

Стр.25 *Идумея* – область Палестины.

Стр.27 *Огюст Конт* (1798-1857) – французский философ, основоположник позитивизма.

Стр. 29 *отель «Даниэли»* – отель в Венеции, расположенный в палаццо XIV в. Один из самых дорогих и роскошных отелей города, среди постояльцев которого были многочисленные знаменитости, в том числе И. В. Гёте, Лорд Байрон, Р. Вагнер, и Ч. Диккенс.

Стр. 30 *Евангелие от Матфея глава 6 стих 19: Не копите богатства себе на земле, где моль и ржавчина точат их и где воры добираются до них и крадут их.*

Стр. 36 *Самбр-э-Мез* – фр. *Sambre-et-Meuse* – город в Бельгии, известный своими воинскими маршами; в годы Великой французской революции армия Самбр-э-Мез была одной из самых важных французских воинских групп.

Стр. 42 *с еще дымящимися чемоданами* – Шарлотта бежала от русской революции домой в швейцарский кантон Во.

Стр. 45 *биза* – холодный северный или северо-западный ветер, дует в северной части Швейцарии и на Женевском озере (озере Леман, как его называют в кантоне Во, где происходит действие романа).

Стр. 49 *Двухметровый сом, плывший вдоль берега* – такие сомы водятся на территории Швейцарии только в озере Мора в кантоне Фрибур. Цезарь спускается в деревушку на берегу этого озера по крутым холмам кантона Во.

173

Стр. 51 *он думал об острове Нетинебудет* – аллюзия на сказку Дж. М. Барри (1860–1937) «Питер Пэн, или Мальчик, который никогда не вырастет» (1904; 1911) и остров *Neverland* (рус. Нетинебудет), где живет заглавный герой.

Стр. 56 *альманах «Вермо»* – альманах, основанный в Париже Жозефом Вермо (1829–1893), одним из изобретателей каталожной торговли. Впервые вышел во Франции 1 января 1886 года. Издавался четыре раза в год, в 1937 г. тираж альманаха составлял 800 тыс. экземпляров. Предназначался для постраничного ежедневного чтения в течение года, содержал практическую информацию, шутки, карикатуры и т.п.

Стр. 60 *«О, почему у нас нет конкурса Лепин?!»* – «Лепин» – ежегодный конкурс изобретателей, проводящийся в Париже. Впервые был организован в 1901 г. по инициативе парижского перфекта Луи Лепина (1846–1933).

Стр. 62 *подарок Лиоте* – Юбер Лиоте (1854–1934) французский военачальник, министр обороны Франции (1916–1917).

Стр. 66 бормотал: «*My God, I shall not die*» – «Боже, я не умру» строчка из псалмов (118:17) в английском переводе библии, т.н. «Библии короля Якова» (1611).

вокруг этой псевдо-церкви, горящей огнями день и ночь – здание стекольной фабрики в Сен-Прэ, построенное в 1911 г., по виду напоминало протестантскую церковь.

174 **Стр. 68** *во дворе уже висел заяц с окровавленной мордой* – т.е. открыт сезон осенней охоты.

Стр. 69 *мало-помалу приближаясь к отцу Мадам, мы все отчетливей видим его черты* – т.е. Цезарь и его братья приближаются по возрасту к отцу Семирамиды, и перед их внутренним взором все отчетливей проступают черты людей и предметов из прошлого.

жоран – холодный северный или северо-восточный ветер в романдской Швейцарии, поднимается обычно ближе к вечеру и дует с Юрских гор.

Стр. 72 *Понт-дэ-Машин* – Шлюз с таким названием была построена в Женеве, в Сент-Прэ шлюза не было, и инженер вряд ли бы туда приехал, чтобы проверить уровень воды в озере.

Стр. 73 *одноножки и китайские шляпки* – обыденные названия разновидностей улиток.

Стр. 75-76 *юный студент-теолог с поникшей головой и тяжелым портфелем вместо агнца..... несчастный святой Иоанн отвернулся* – т.е. студент-теолог напоминает св. Иоанна, на картинах часто изображаемого с агнцем.

Стр. 77 *тильбюри* – лёгкая, открытая, двухколёсная карета, с крышей или без.

Стр. 78 *соли «Крюшен»* – слабительные соли.

Стр. 79 *кожа желтая в красных крапинках, как у форели, проплывшей в неглубоких водах в нужный час* – окраска форели изменчива и зависит от цвета воды и дна, от пищи и даже от времени года.

175

Стр. 87 *Мы не ветки, листья и траву сгребаем, а розы* – сушильщики сгребают засохшие розы на виноградниках. На виноградниках романдской Швейцарии высаживают розы, корневая система которых схожа с корневой системой винограда, но более чувствительна к болезням и вредителям. По состоянию роз виноградари определяют, какая опасность может грозить лозе.

Жорж Онэ (1848–1918) – популярный французский писатель второй половины XIX – начала XX в. Много томные собрания его сочинений выходили огромными тиражами. Наиболее известные произведения – романы «Серж Панин» (1881) и «Кутящий Париж» (1898).

Стр. 88 *летают ангелы, говорящие на двух языках* – ангелы летают в небе над двуязычным кантоном Фрибур, на границе с кантоном Во.

Стр. 97 *черные глаза, плоские и без века* – плоский глаз, особая разновидность дальнорзости.

Стр. 105 *с голой землей виноградников, нетронутой плугом* – виноградный плуг применяется только для обработки междурядий в виноградниках

и имеет особую конструкцию, чтобы при работе не задевать лозы.

Стр. 107 *катеху* – пастилки из смолистого сока акации катеху имеют приторный тошнотворный запах.

Стр. 144 *Куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, и твой Бог будет моим Богом* – Книга Руфь 1:16

176

Стр. 158 *Улисс вполне сгодился бы, чтобы считать ящики с виноградом* – в оригинале: *faire le partisseur*. *Le partisseur* – диалектизм, обозначающий в кантоне Во работника виноградников, считающего ящики с виноградом. Портрет типичного *le partisseur* и его работа подробно описаны в новелле швейцарского писателя Ш. Ф. Рамю (1878–1947) «Сбор винограда».

Стр. 170 *забыв про второго коня, про конец странств* – аллюзия на Второго всадника Апокалипсиса.

ранняя роза скоро созреет – ранняя роза – столовый сорт винограда, один из самых раннеспелых сортов, сбор грозди начинается в конце июля – начале августа.

Об авторе

Катрин Колом (настоящее имя – Мария-Луиза Колом-Реймонд) родилась в 1893 году в семье землевладельцев в замке Сент-Прэ. Окончила школу в Лозанне, училась на филологическом факультете Лозаннского университета. После университета несколько лет преподавала в гимназии в Веве. Жила в Берлине и Потсдаме, в 1917 – в Париже. Знаменательной для Катрин Колом стала поездка в Англию – несколько месяцев она провела в Лондоне в семье Леди Оттолайн Моррелль, обучая французскому языку ее дочь. В Лондоне она познакомилась с членами Блумсберийского кружка: Ллойдом Джорджем, Литтоном Стрейчи, Бертраном Расселом, а также с танцором Вацлавом Нижинским. В 1921 году вышла замуж за швейцарского адвоката Жана Реймонда и больше не покидала пределов кантона Во. В 1934 году Колом опубликовала свой первый роман «Орел или решка», от которого впоследствии отказалась, посчитав его «незрелым». Глубоко оригинальное видение времени и пространства отличает трилогию – «Замки детства» (1945), «Духи земли» (1953) и «Время ангелов» (1962). Смена эпох и мелкие интриги в водуазских шато, наследство, рождение, свадьбы, похороны – темы, объединяющие все три ее книги. Перед смертью, в 1965 году, Катрин Колом уничтожила большую часть своих рукописей и все черновики к изданным произведениям.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Гертруда Стайн
АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю моей жизни». «Автобиография каждого» вышла в 1937 году и прежде не переводилась на русский язык.

Стайн подробно рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Герард Реве
ПИСЬМА СИМОНУ К.

Герард Реве дорожил своими письмами Симону Кармигелту (1913-1987). Он считал послания друзьям отдельной частью своих сочинений, эквивалентной романам и рассказам. Переписка с Симоном К. продолжалась с 1971 по 1975 год. В это время Реве работал над лучшими своими книгами – «Язык любви», «Милые мальчики» и «Циркач». Реве пишет «собрату по перу» о депрессиях и литературных успехах, политике и коварстве алкоголя, превратностях любви и милости Богоматери.

Франсуа Сантен
УБИЙЦА И ЕГО ПАЛАЧ

Близкий друг Жана Жене Франсуа Сантен (1920-2010) рассказывает запутанную историю казненного в 1939 убийцы Мориса Пилоржа, которому Жене посвятил поэму «Смертник», и палача Анатоля Дейблера, внезапно скончавшегося по дороге на казнь Пилоржа.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Жиль Себан
ДОМОДОССОЛА

Жизнь Жана Жене напоминает комическую сценку, душераздирающую и наводящую ужас, – что-то вроде циркового номера, по окончании которого клоуны выходят за ограду шапито, влезают в автофургон и с фатальным лязгом захлопывают двери, а затем, даже не сняв грим, нажимают на курок и вышибают себе мозги.

Джеймс Парди
Я – ИЛАЙДЖА ТРАШ

Престарелая, но прекрасная наследница нефтяного состояния уговаривает истекающего кровью чернокожего юношу следить за объектом ее желаний – девяностолетним Илайджей Трашем, актером ослепительной красоты. Однако ветреный Илайджа любит только одно существо – своего немного правнука. Впервые на русском языке – сюрреалистический роман великого американского прозаика.

**Издательства «Kolonna Publications»
и «Митин Журнал» представляют**

Пьер Гийота
ВОСПИТАНИЕ

Первые 13 лет жизни, 1940-1953: оккупация, освобождение, обретение веры в Христа, желание стать священником и спор с Богом, позволившим гибель в концлагере юного Юбера, над головой которого годовалый Пьер Гийота видел нимб.

Марсель Жуандо
ТАЙНЫЕ ПИСЬМЕНА

Великие вещи, которые происходят во мне, – очень маленькие. Если бы о них узнали, меня задушили бы между двумя матрасами, как тех, кого покусала бешеная собака. Но до тех пор, пока только я один знаю о своем душевном смятении, я еще не полностью потерянный человек.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications»
можно приобрести в Москве:

«Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Москва» ул. Тверская, д. 8
«Циолковский» ул. Большая Молчановка, д. 18
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
«Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo» Таганская ул., 31/22

в Санкт-Петербурге:

«Порядок слов» Наб. Фонтанки, 15
«Все свободны» Наб. Мойки, 28, второй двор
«Буквоед» Невский пр., д.46

через Интернет:

«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Esterum» esterum.ru
«Petropol» petropol.com
«Болеро» bolero.ru
«Чакона» chaconne.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на Украине:

«Либра» librabook.com.ua

По вопросу оптовых продаж обращаться
в ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92
Национальный книжный дистрибьютор
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать
наложенным платежом в редакции на сайте mitin.com

Катрин Колом **ДУХИ ЗЕМЛИ**

Перевод Ирины Мельниковой

Kolonna Publications

Россия, Тверь, улица Брагина, 6, офис 301
Подписано в печать 22.08.2014. Тираж 500 экз. Заказ № 777.
Формат 70 x 100/32. Объем 11 п.л. Гарнитура itc Charter
Отпечатано в Информационно-издательском центре
Екатеринбургской епархии, 1-й этаж (во дворе Иоанно-
Предтеченской церкви, напротив Центрального стадиона).
620014, Екатеринбург-14, а/я 184, www.orthodox-polygraphy.ru